

10/3

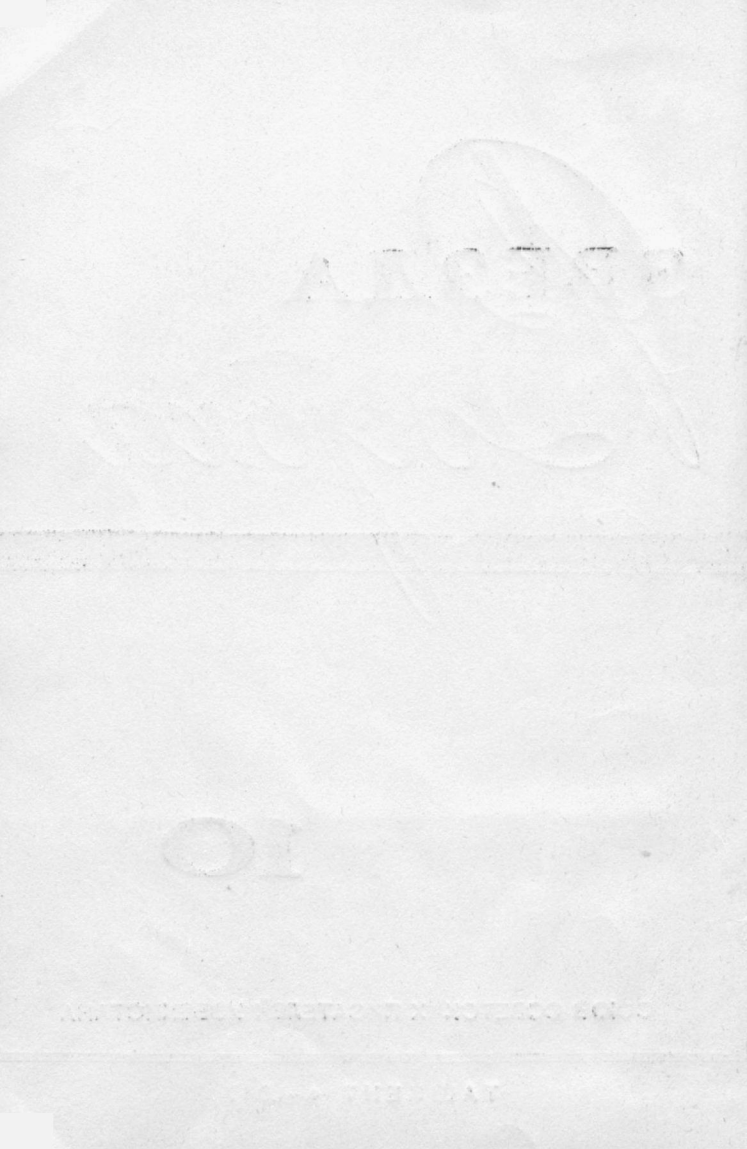
10-12

ЗВЕЗДА
Востока

10

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ ♦ 1947



Исполницкий мужик,
 слыша взрывов ребристый гром,
 Нес, танцуя,
 по насыпи
 камень пятипудовый.
 Дымы в небо вставали столбами —
 древнее нет колоннад.
 Задышало весной и пустыней
 на этой народов стоянке.
 Загорелись планеты,
 возникла-крутая луна.
 И на Курской дуге
 лбами броней
 кровавились танки.
 Здесь Фархад меднорукий
 кирку трехсаженную
 сжал.
 Здесь потомки Фархада
 врубались в скалу
 с разворота.
 И увидел певец,
 будто Сталин сюда приезжал.
 И под утро глядел
 на свирепую эту работу.
 Что придумал певец,
 мы над этим, друзья, не вольны.
 Что увидел народ
 южной ночью,
 другому вовек не приснится, —
 Только знаю,
 что бились бригады
 до поздней,
 до красной луны.
 И над ними неслись неслыти —
 полночные птицы.
 И покинула русло свое
 рыжегрудая Сыр-Дарья.
 В эту ночь
 от прожекторов разгорались
 усталые лица.
 Древним смыслом полна
 и веков повеленье тая,
 Танец рук начинала
 вся в косах,
 в огнях
 танцовщица.
 Танец рук,
 танец рук трудовых, —
 вьются, стелются, рвутся они.

Бубны бьют,
и карнаи ревут,
Птица-девушка,
и плывет по площадке
радость земли.
А полмира — огни.
Это знаки работы —
работы глухой, беспощадной,
Ибо в это мгновение
под Киевом рвется снаряд.
И не карта, а сердце ведет
по суровому следу.
Для разгрома врагов
собирает сынов Ленинград.
Фархад поднимает на скалах
широкое знамя победы.
Шаг за шагом за армиями,
за дивизиями,
шаг в шаг
Старики, и подростки, и дети
ходили на штурм природы,
И остался навеки
в крестьянских упрямах ушах
Резкий лязг кетменей
и пронзительный вопль непогоды.
Нет, не танец рук,
а великая песня рук
Поднималась до звезд ледяных,
до зенита полдневного ада.
Здесь учились ремеслам и грамоте,
тайнам плотинных наук,
Электричеством одевали
суровые дали Фархада.
Но совсем далеко на хребтах
величавый лежит туман.
И годы прошли
и победа пришла,
и кончается южное лето.
Пылью конечных работ
покрывается котлован.
Вот и Октябрь, —
праздник поющего света.
Горит Туркестанский хребет.
Внизу полосатый склон.
Выжженная черта
канала в седой пустыне.
Последние проговорят
экскаваторы „Марион“.

В седой громадине ГЭС
 последний бетон застынет.
 И это ворота жизни,
 ворота весны.
 Здесь
 Преобразился народ,
 он высек на скалах
 лица своего очертанье.
 Он слился с Фархадом навек,
 он был на Фархаде весь.
 Ковш экскаватора
 стал
 символом Узбекистана.
 Не верь,
 когда говорят,
 что нет у человека души,
 Есть у человека душа —
 в доблести,
 в неумирающей славе и чести.
 В камне Фархадской плотины,
 во всем, что пришлось совершить
 В годы великих сражений
 с нашим народом вместе.
 И сейчас, когда воют ветра,
 и сер карагача ствол,
 И смолкла бешеных взрывов
 пятилетняя канонада,
 Я хотел бы опять сесть
 за простой канцелярский стол
 В легендарной пещере
 каменотеса Фархада.

Беговат
 1947 г.

МЯХРИ И ВЕПА

Главы из романа

Глава I

У подножья гор Копет-Дага, там, где этот величественный каменный кряж вздымает к небу самую высокую из своих вершин, раскинулся большой аул. В этом ауле, что стоит, словно страж, на южной границе великого Советского Союза, в этом ауле, где в знойную летнюю пору так грустно звенят джизикалы, жили две крестьянских семьи, связанные между собой узами крепкой дружбы. Главой одной из этих семей был Аман Пошчи, что значит Аман-джигит. Прозвище это дал ему народ еще в те времена, когда Аман со своим конем и саблей служил джигитом в Текинском полку. Главу другой семьи звали Сахат. Оба они в первую мировую войну бились вместе против немцев. Еще в те далекие времена зародилась и окрепла их дружба. Обе семьи были тогда очень бедны. Лишь после 1926 года, получив землю и воду, смогли они взяться за дехканское дело. Дружба Амана и Сахата была столь велика, что они не могли друг без друга ни пить, ни есть. Вернувшись с поля, Аман Пошчи останавливался у входа в свою кибитку и кричал:

— Сахат!

И Сахат уже знал, зачем зовет его друг. Или же Сахат, опережая Амана, кричал:

— Пошчи!

Тогда у одной из кибиток расстилали кошму, и оба семейства собирались вместе и садились обедать. Резали дыню, наполняли ведро виноградом, заливали виноград холодной водой и принимались за еду. За едой велась оживленная беседа. Аман Пошчи, расправив свою могучую грудь, поглаживал усы и начинал так:

— А помнишь ли, Сахат, как скакал ты на своем коне, что с отметкой на лбу, по Карпатским ущельям?

И Сахат отвечал:

— Ай, Пошчи, да разве можно позабыть те дни!

Так завязывалась беседа. Вспоминались жаркие схватки, в них оживали быстроногие кони, сверкали острые сабли, кровь врагов окрашивала клинки ножей. Аман Пошчи на все лады расхваливал своего коня — он любил вспоминать о верном спутнике своей боевой жизни.

— Конь — крылья джигита, — говорил Пошчи. — Когда под тобою быстрый конь, то и длинный путь тебе короток. Ты не даешь покоя немецким злодеям, гонишь их долго, гонишь за десятки верст от поля битвы. Или налетишь на них врасплох, порубишь, посечешь и умчишься снова, как птица, — только тебя и видели. А враги переполошатся, галдят: „Эти войны подобны коршунам, налетевшим с неба!“

Сахат вспоминал:

— Когда подкрался я к их караульному и всадил ему в грудь свой нож, верно, показалось немцу, что спустился с неба Авраил.

Если Аман Пошчи любил похвалить своего коня, то Сахат хвалил свой нож. С виду это был самый обыкновенный нож — у него не было ни рукоятки из золота, ни золотых ножен, но, должно быть, он не раз выручал своего хозяина из беды, и потому Сахат так любил вспоминать о нем.

Клыч Мерген, отец Амана Пошчи, здоровый кряжистый старик, полулежа на кошме, тоже вставлял в разговор какое-нибудь словечко. Клыч Мерген был человеком старым и помнил далекие времена. В его могучих руках и ногах и крепком жилистом теле таилась необычайная сила. Летом он носил верблюжий чекмень, а зимой — ватный халат, подпоясанный белым кушаком, и старинного покрои высокую шапку. Прицепив к поясу пороховницу, кремь, мешочек с пиалой и еще всякие другие мелочи, Клыч Мерген брал старинное ружье и уходил в горы. Взобравшись повыше, он начинал рыхлить ногами землю, поднимая пыль. И потому, как оседала пыль, определял направление ветра. Тогда он шел ветру навстречу. Он знал повадки всех диких животных, населяющих горы. Когда старый Клыч Мерген, нанизав на пояс убитую дичь и взвалив на плечи подстреленных джейранов, спускался по тропе с гор, он был похож на пещерного человека, возвращающегося со своей добычей с охоты. Все, и стар и млад, знали Клыч Мергена — он был известен каждому человеку в округе. Не успеет он еще достичь аула, как уже ребяташки обступят его со всех сторон и бегут впереди и сзади с криком:

— Мерген-ата идет!

Они поднимут такой гвалт, что и взрослые начнут выглядывать из кибиток и, увидав Клыч Мергена, тоже поспешат ему навстречу. Они снимут с плеч старика ношу и забросают его вопросами. А Клыч Мерген степенно и неторопливо идет по аулу, то весело, то притворно-грозно переговариваясь с ребятами. А у ребят только одна мечта в сердце и одна просьба на языке:

— Мерген-ата, в следующий раз возьми меня с собой на охоту!

— Нет, меня!

И Клыч Мерген, посмеиваясь, ответит:

— Ладно, ладно, возьму.

Но когда снова придет время охоты, никто не увидит, как уйдет в горы старый Клыч Мерген, и только возвращение его снова будет возмещено суматохой и радостным гвалтом ребятишек.

Вернувшись с охоты домой, Клыч Мерген прежде всего садится пить зеленый чай. Он пьет пизалу за пизалой, вытирая обильно струящийся пот. Вокруг него — внимательные слушатели. Клыч Мерген помнит немало занятых историй и легенд и рассказывает, неторопливо прихлебывая чай:

— В старину зверья в горах было куда больше, но охотиться было труднее. Время было суровое, опасное; народ спасался от племенных разбойников вон в той старой крепости. Тогда была война с кизилбабами. В одиночку никто не ходил на охоту. Собирались по три, по четыре человека... Или, к примеру, что такое Ашхабад? Не вчера ли вырос здесь этот город? Еще на моей памяти там, где стоят теперь высокие дома, был просто вал, поросший верблюжьей колючкой. Потом за этим валом выросли обжигательные печи. Они коптили так, что в воздухе всегда стояли клубы дыма. Я сам немало колючки перевозил к этим печам... Тогда из Ирана толпами, по пятьдесят, по сто человек, стекался сюда голодный нищий люд. Месили глину, клали кирпичи, работали, как верблюды. Спали прямо на голой земле... — так беседовал Клыч Мерген со своими друзьями, и беседа нередко затягивалась далеко за полночь.

Из всех своих внучат Клыч Мерген любил больше маленького Вепа. У Амана Пошчи было четверо сыновей. Вепа был самым младшим, самым слабым и неуклюжим. Отец в глубине души считал его никудышным и во всем отдавал предпочтение старшим сыновьям. У Вепа были живые черные глаза, и, когда он был чем-нибудь взволнован, они лучились и сверкали. Но у него была привычка, задумавшись, стоять с разинутым ртом, и в такие минуты люди, глядя на него, решали: „Он будет слюняем“. Старшие братья нередко колотили Вепа, дразнили его: „Слюняй, балбес, разиня“. Однако маленький Вепа с младенческих лет имел двух верных, надежных друзей. Одним из этих друзей был единственный сын Сахата — Кельдже. Настоящее имя Кельдже было Мурад, но он родился очень маленьким и слабым, и отец прозвал его Кельдже, что значит „живущий“. С годами Кельдже выровнялся, окреп и понемногу превратился в здорового, сильного и бойкого мальчишку, по кличка, данная ему при рождении, так и осталась за ним. Вепа и Кельдже были закадычными друзьями, и дружба сыновей рдовала Амана Пошчи и Сахата.

Вторым другом маленького Вепа был его старый дедушка Клыч Мерген. Старик жалел своего внученка и даже иногда брал его с собой на охоту. Вепа изо всех сил старался не быть деду в тягость. Они очень весело и дружно проводили вместе время на охоте. Подстрелив джейрана, старик сразу же принимался высекать

огонь, а Вена, не дожидаясь приказаний, бежал собирать топливо. Он знал все привычки своего старого деда. Клыч Мерген никогда не шел на охоту, не захватив с собой хлеба и соли. Если даже ему удавалось подстрелить джейрана неподалеку от аула, он все равно не возвращался домой, не приготовив сначала тут же на месте шашлыка.

Поджарив на костре куски джейраньего мяса, дед с внуком принижились за еду. Клыч Мерген говорил:

— Ну-ка, теперь ты Расскажи мне что-нибудь, а я послушаю.

И Вена рассказывал деду о своих школьных делах, об учебе, о старых и новых друзьях и товарищах. Как-то раз Вена рассказывал деду о том, как на узкой улице аула столкнулись два вьючных верблюда, и с одного из них слетел тюк. Там ни кто ни пройти, ни проехать не мог, пока не растащили верблюдов. Проезжала какая-то машина и тоже застряла.

— Дедушка, — спросил Вена, — а зачем раньше делали такие узкие улицы?

— Да раньше нам и во сне не снилось, что по нашим улицам будут ходить какие-то машины! — в сердцах крикнул старик. Его голос эхом прокатился в горах. Устыдившись своего крика, Клыч Мерген прибавил тише:

— Откуда нам было знать, Вена, что придет такое время, когда выдумают какие-то чудовища-самоходы?

Вскоре после этого разговора колхозники, собравшись около кибитки Амана Пошчи, вели беседу о посевах и других колхозных делах. Когда дошла очередь до Клыч Мергена, он сказал:

— Все это очень хорошо, все идет ладно, одно только у нас неладно — надо бы выйти из этого аула... Вон у нас какие улицы кривые да узкие — двум верблюдам не разойтись. Надо бы нам, собравшись с силами, построить новый аул, чтобы был как город. Чтобы был достоин времени, в которое мы живем.

И все одобрили слова старого Клыч Мергена.

Глава II

Вена и Кельдже учились в одной школе. Дружба мальчиков крепла с каждым годом. Оба учились хорошо и переходили из класса в класс с лучшими отметками. Но и среди девочек было немало таких, которые шли с ними нога в ногу. Одной из этих девочек была Мяхриджамал. Своим открытым, приветливым характером и пытливым любознательным умом Мяхриджамал привлекала к себе сердца как педагогов, так и своих одноклассников. Однако перед всеми своими сверстниками Мяхриджамал отдавала предпочтение Вена. Она поверяла ему все свои детские тайны. Когда у нее случались какие-нибудь нелады дома, она бежала к своему другу, чтобы излить перед ним горе, и Вена, как никто, умел развеять ее печаль. Они вместе слагали стихи и песни, и им всегда было весело вдвоем. Кельдже — тот был совсем другого нрава. Стихам и песням он предпочитал стрельбу из лука или прогулки в горах.

где любил сбрасывать с кручи камни и слушать, как они с грохотом летят в пропасть.

Так текли их школьные годы, и взаимная привязанность Мяхриджамал и Вепа росла с каждым днем. Как-то раз, когда они уже учились в седьмом классе, Вепа, перелистывая свою тетрадь, увидел в ней шелковый лоскут. На одной стороне лоскута был вышит цветок, а с другой стороны приклеен лист бумаги, на котором были написаны стихи, озаглавленные „На память“. Вепа прочел:

Буран в глуши степной заплачет,
Над горькою судьбой заплачет.
Когда расстанусь я с тобой,
Могильщик надо мной заплачет.
Вода весной побежит,
Мой белый сокол прилетит.
В разлуке рушатся и горы,
В разлуке и скала горит.

Сердце Вепа забилося, когда, вчитавшись в стихи, он понял скрытый в них смысл. Но кто же написал эти стихи, кто положил их ему в тетрадь? Что-то говорило Вепа, что стихи написала Мяхриджамал. Он снова и снова перечитывал стихи, смутно угадывая, что крылось за этим подарком.

С каждым днём, чувствуя, как приближается срок выпуска из школы, а вместе с ним близится и разлука с Вепа, Мяхриджамал тосковала все больше и больше. „Скоро нам придется расстаться“, — думала девушка, и новое, еще неизведанное ею нежное чувство росло в ее сердце, наполняя его сладкой печалью. Мяхриджамал не заметила сама, как стала пленницей этого чувства, тонкими, но неразрывными нитями связавшего ее с Вепа. Конечно, это она, не зная, как открыть юноше свои чувства, положила ему в тетрадь стихи. Тайна этого подарка открылась Вепа в последний день учебы.

Вепа и Мяхриджамал сидели у арыка неподалеку от школы. Весь этот день Мяхриджамал была задумчива и грустна. Они долго молчали, глядя на быстро струившуюся воду. Наконец, Вепа собрался с духом и сказал притворно-небрежным тоном:

— Кто-то положил Кельдже в тетрадку стихи на память...

Мяхриджамал вздрогнула, растерянно посмотрела на Вепа и, зардевшись от смущения, спросила дрогнувшим голосом:

— Что ж это за стихи?

— Да так... стихи, — и Вепа начал читать стихи, которые запомнил уже наизусть.

Мяхриджамал, слушая его, краснела все больше и больше. Вепа и Кельдже сидели на одной парте, их тетради лежали рядом... Конечно, она могла второпях сунуть свой подарок не в ту тетрадку. Украдкой поглядывая на Мяхриджамал, Вепа заметил, что ее лицо стало совсем пунцовым. Она была расстроена своей ошибкой и, пробормотав что-то, встала и ушла, а Вепа украдкой последовал за ней.

Мяхриджамал направилась к спортивной площадке, где ребята играли в мяч. Подойдя поближе, она негромко позвала:

— Кельдже!

— Зачем тебе Кельдже? — отозвался тот, не оборачиваясь.

— Говорят, кто-то сделал тебе подарок на память? Покажи мне, — сказала Мяхриджамал, но Кельдже, увлеченный игрой, не разобрав, что она сказала, ответил со своей обычной шутливостью:

— Подарок на память? Какой же тебе нужен подарок? Вот, гляди, я сейчас забью мяч — вот и будет хороший подарок на память! — и он побежал за мячом.

— Кельдже, Кельдже! — закричала ему вслед Мяхриджамал, но он ее уже не слушал.

Стоя в стороне и наблюдая за этой сценой, Вепа понял, что стихи написала Мяхриджамал.

На другой день в школе состоялся праздник в честь завершения учебного года. Выпускникам-отличникам были вручены награды. Праздник прошел очень оживленно, молодежь веселилась непринужденно. Когда все стали расходиться по домам, Вепа, Кельдже и Мяхриджамал вышли из школы вместе с целой гурьбой юношей и девушек, которым было с ними по пути. Весело перекликаясь, смеясь, распевая песни, шли они по затихшим улицам, наполняя их веселым гомоном молодых голосов. И всю дорогу две темных фигуры крались за ними по другой стороне улицы, прячась в тени деревьев. Понемногу их группа редела — то один, то другая сворачивали к своему дому. Наконец Мяхри, Вепа и Кельдже остались втроем. Кельдже болтал без умолку. Смех его, рассыпаясь в тихом ночном воздухе, звенел, как бубенчик. Вепа, наоборот, был молчалив, а Мяхри шла в глубокой задумчивости и всю дорогу не проронила ни слова. Кельдже начал рассказывать какую-то смешную историю, но вдруг замолчал и уставился в одну точку. Потом, ни слова не говоря, повернулся и побежал домой. Мяхри и Вепа приняли это за очередную выходку Кельдже и пошли дальше. В полном молчании шли они по темной улице аула. Внезапно Мяхриджамал остановилась и сказала:

— Вепа... — Она хотела добавить еще что-то и подошла к нему поближе. Она решила сказать Вепа о своей любви и о том, что стихи предназначались ему, а не Кельдже. Но не успела она произнести и полслова, как резкий окрик раздался у нее за спиной. Закричав от испуга не своим голосом „Вай!“, Мяхриджамал метнулась в сторону и растаяла во мраке.

Вепа хотел было броситься вслед за Мяхриджамал, но дорогу ему преградил старший брат Мяхриджамал Мулла Хошлы.

— Ты куда, паршивец? — хрипло закричал он. — Стой, не то я тебя в порошок сотру! — ругаясь и сквернословя, он надвигался на Вепа, в руке у него блеснул нож.

Ошеломленный Вепа стоял молча и неподвижно. Гнев душил его, но он не произносил ни слова.

— Я из тебя дух вышибу, паскудник! — бесновался Мулла Хошлы.

Из-за его спины выглядывала безмолвная, черная, как тень, фигура его спутника. Вдруг раздался знакомый голос:

— Легче, легче, Мулла Хошлы! Ишь, как ты запыхался. Смотри, не лопни от натуги. Что сделал тебе этот мальчик? Чего ты лезешь на него с ножом?

Вепа увидел выросшую словно из-под земли высокую костлявую фигуру Сахата. Это Кельдже, заметив кравшихся за деревьями людей, побежал домой и привел отца.

При появлении Сахата Мулла Хошлы сразу осекся и стоял, как вкопанный, глядя в землю, а спутник его мгновенно исчез.

— Ты меня знаешь? Меня зовут Сахат-партизан! Ты что руками-то размахался? Брось сейчас же ножик! — грозно крикнул Сахат.

Мулла Хошлы поспешно бросил нож на землю. Сахат сказал:

— Мулла Хошлы! Если ты еще хоть раз подойдешь к кому-нибудь из наших ребят с ножом, я проломлю тебе голову, как гнилую тыкву! Понял? Мы своих сыновей растили не для того, чтобы ты над ними издевался. Ну, убирайся, на тебя глядеть тошно.

Мулла Хошлы ушел, не проронив ни звука. Кельдже, наблюдавший всю эту сцену, давился от смеха, но Сахату было не до шуток. Он знал необузданный характер Амана Пошчи и был встревожен.

А на утро, чуть рассвело, бледный, без кровинки в лице Мулла Хошлы пришел к Аману Пошчи и, вызвав его во двор, сказал:

— Вчера вечером твой сын обесчестил мою сестру. Он избил девушку, так надругался над ней, что она лежит сейчас без памяти.

Лицо Амана Пошчи побагровело от гнева.

— Который из моих сыновей? — спросил он.

— Вепа...

— Вепа? Этот тихоня! — вскричал Аман Пошчи, охваченный яростью.

В эту минуту во двор вошел Сахат.

Увидав Сахата, Мулла Хошлы сразу сбавил тон.

— Вот, говорят, — посылайте ребят в школу, — гнусавил он, тряся бородой. — А пошлешь, бог знает что получается. Если сестра умрет, мы отомстим за ее кровь...

Слушая его причитания, Аман Пошчи все больше приходил в ярость. Он думал: „Из-за этого негодного мальчишки мы все попадем в беду. Во времена туркменчилика за такие дела убивали...“

— Что тут у вас такое? — вмешался Сахат.

— Что, что!.. — в сердцах накинулся на него Аман Пошчи. — Небось, не глухой — сам слышишь...

— Вот что, Аман Пошчи, ты себя понапрасну не мучай. Я лучше тебя знаю, что у них там произошло. — И, повернувшись к Мулле Хошлы, Сахат сказал:

— Если твоя сестра умрет — это дело твоих рук. Ты, верно, сам ее избил. Вот что, Мулла Хошлы, ты запомни крепко то, что я тебе сейчас скажу, чтобы до самой смерти не забыть. Если с Вепа или Мяхри что-нибудь случится, ты мне за них ответишь головой! Понял?

Мулла Хошлы, красный как рак, с перекошенным от злобы лицом, делал вид, что не слышит слов Сахата.

— Аман Пошчи! От делишек твоего сына пахнет кровью! Ну, а что будет дальше, мы посмотрим... — с угрозой сказал он и, размахивая руками, зашагал прочь. В воротах он столкнулся с Вепа, который, ни о чем не подозревая, возвращался домой, прогнав скотину в стадо.

Аман Пошчи, у которого от ярости все волосы на затылке взъерошились, как у дикого кота, увидав сына, воскликнул:

— Будь проклят тот сын, который на голову отца и матери приносит от людей проклятья! — И с этими словами он вошел в дом, сорвал со стены свою старую шашку и, выдернув ее из ножен, снова вышел во двор. Вид его был страшен. Сведенное судорогой лицо побелело, глаза налились кровью. Гнев отнял у него рассудок. Он был весь во власти слепой, неистовой ярости. Аман Пошчи изрубил бы своего сына Вепа, если бы ему не помешали.

Старый Клыч Мерген преградил ему путь.

— Ты что, рехнулся? Опомнись! — крикнул он.

— Чей он сын — твой или мой? — спросил Аман Пошчи.

— Твой, — ответил Клыч Мерген.

— А если мой, так тебя это дело не касается! — крикнул Аман.

— Ладно, не касается, так не касается, — ответил Клыч Мерген и, повернувшись, вошел в дом.

Сахат, индвинувшись к Амана Пошчи и стараясь загородить от него Вепа, кричал:

— Аман Пошчи! Опомнись! Твой разум покинул тебя! Все, что говорил этот негодяй Мулла, — клевета. Он сам своими погаными руками избил девушку, а теперь взваливает на Вепа. Он сам ее бил, сам — понимаешь?

Но Аман Пошчи не слушал Сахата.

В эту минуту из дома вышел Клыч Мерген. В руке он держал свое старое ружье. Клыч Мерген сказал:

— Брось, Сахат! Не уговаривай дурака. Аман Пошчи! Ты, я вижу, не успокоишься, пока не изрубил на куски своего родного сына. Ну, а я не буду Клыч Батыр, если после этого не пристрелю тебя из этого вот ружья. Пусть весь народ знает, что на нашем дворе отцы поубивали своих сыновей!

Недаром говорится: „В шутке сын победит, а в серьезном деле — отец“. Должно быть, Аман Пошчи знал характер своего отца, знал, что в серьезных делах Клыч Мерген шутить не любит... Опустив саблю, Аман Пошчи крикнул Вепа, который все время безмолвно стоял в стороне, опустив голову:

— Убирайся вон! Ты мне больше не сын. Чтоб духу твоего здесь не было.

Сахат пытался уговорить своего друга — все было напрасно. Тогда, вконец разобидевшись, Сахат сказал с горечью:

— Видно, наша дружба не стоит в твоих глазах и копейки. Я говорю тебе истинную правду, от чистого сердца, а ты плюешь на мои слова и веришь грязной клевете. Эх ты! Другой бы гор-

даться стал таким сыном, как твой! Ну что ж... Вепа обойдется и без тебя. Да и я тоже. Вепа, пойдем! — И, отвернувшись от Амана Пошчи, Сахат зашагал прочь.

Вепа поднял голову, обвел взглядом мать, братьев, которые, выбежав на крик из дома, стояли на крыльце, посмотрел на своего старого дедушку и пошел вслед за Сахатом. Сделав несколько шагов, он обернулся и сказал негромко:

— Я ни в чем не виноват. — И ушел.

Оразгюль грустно глядела вслед сыну.

Весть о том, что Вепа, сын Амана Пошчи, оскорбил честь Мяхриджамал, сестры Муллы Хошлы, мгновенно облетела весь аул. Через несколько дней приехал следователь, присланный по заявлению Муллы.

Мяхриджамал, вызванная к следователю, сначала сказала: „Вепа меня обесчестил“, но потом, под влиянием вдумчивых и осторожных расспросов следователя, смелась и замолчала. Следователь стал уговаривать ее, отбросив страх, рассказать ему все без утайки, и Мяхриджамал вдруг разрыдалась и воскликнула:

— Все, что я наговорила на Вепа, — ложь и клевета. Брат грозил меня убить, если я не буду говорить так, как он приказывал.

Когда следствие было закончено, директор школы позвал к себе Вепа.

— Мы решили послать тебя в город в высшее учебное заведение. Поезжай, учись хорошенько, станешь инженером.

Сахат, прощаясь с Вепа, сказал:

— Не тужи, Вепа. Если дом Амана Пошчи закрыт для тебя, то дом Сахата всегда будет тебе родным домом. Ты нам пиши, не забывай нас.

Вепа ушел. Кельдже пошел проводить своего друга. Они вышли из аула в степь и там расстались. Так покинул Вепа свой родной аул. О судьбе его, казалось, никто, кроме Сахата и Кельдже, не тужил.

Но Мяхриджамал с того часа дни и ночи проводила в слезах. Она никогда не выходила из дома и ни с кем не говорила ни слова. Она стала предметом толков и пересудов всего аула и чувствовала себя опозоренной. Но не только стыд терзал Мяхриджамал — она изводилась от тоски по Вепа. Лишь теперь поняла она, как горяча была ее привязанность к этому юноше и как тяжела разлука с ним. И тем мучительнее страдала она, думая о своем вероломстве. Подобно тому, как нежный цветок сохнет и увядает под палящими лучами солнца, так и Мяхриджамал, снедаемая тоской, день ото дня чахла все больше и больше.

Встревоженная мать перепробовала все средства, стараясь возродить к жизни дочь, и, наконец, начала обращаться к знахаркам. Знахарки смотрели на Мяхриджамал, покачивая головой, говорили: „Твою дочь сглазили. На нее разгневались дэвы и пери“. И творили над Мяхриджамал заклинания, а мать покупала у них всевозможные талисманы и амулеты. Скоро вся тубетейка Мяхриджамал и шелковое платье оказались сплошь увешанными амулетами.

Но грусть ее только усиливалась день ото дня. Она сохла и бледнела.

Мать пичкала Мяхриджамал всякими ядовитыми снадобьями и неизвестно чем бы все это кончилось, если бы в это время не приехал в аул Кочмурад — брат Мяхриджамал, живший в городе. Кочмурад крепко побранился с матерью и Муллою Хошлы и увез Мяхриджамал с собой в город. Там время и новые впечатления развеяли понемногу грусть Мяхриджамал, и здоровье ее стало восстанавливаться. Она снова взялась за учебу и скоро привыкла к городской жизни.

Глава III

Прошли годы с тех пор, как Вепа покинул свой родной аул, и здесь произошло немало перемен. Свершилось все то, о чем как-то раз обмолвился Клыч Мерген, подзадоренный своим внуком.

Неподалеку от старого селения раскинулся заново отстроенный, зеленый как сад аул. Пять прямых, широких улиц тянулись с севера на юг. Пять точно таких же улиц пересекают их с запада на восток. По обеим сторонам улиц зеленеют фруктовые деревья. В глубине дворов из-за листвы деревьев выглядывают красивые новые дома.

Сбегающий с холма арык обсажен высокими тополями, горделиво вздымающими к небу свои зеленые кроны. А вдали, за холмами, высится темная вершина Копет Дага. Так выглядит теперь новый аул колхоза имени Сталина.

В центре нового аула, на перекрестке двух улиц, целый день царит оживление. Здесь раскинулся колхозный базар. Вокруг площади расположились все главные здания аула. Здесь и дом правления колхоза, и клуб, и школа, и здание аулсовета, и красная чайхана... Каждый вечер зал клуба наполняется колхозниками, пришедшими посмотреть новую кинокартину. Старики, собравшись под урюковыми деревьями возле чайханы, беседуют, играют в шахматы и расходятся только к вечерней молитве. Молодежь же расходится затемно, а многие засиживаются и дольше, ибо в два часа ночи предстоит самое интересное..

Население аула, расположенного на самой южной границе Советского Союза, с нетерпением ждет наступления этого часа. Ждет и старый Клыч Мерген. Никто не заставляет старика сидеть далеко за полночь с молодежью. Но он редко уходит домой, не дождавшись той минуты, когда на веранде чайханы заговорит радио. И только прослушав последние известия и бой часов с Кремлевской башни, поднимается старый Клыч Мерген, поднимаются и другие колхозники.

— Слава богу, спокойно бьется сердце нашей родины. Никакой враг не сможет нас одолеть, — скажет старый Клыч Мерген, прощаясь со своими односельчанами, и все одобрительно ему поддадут.

Но вот грянула война. Лучшая часть молодежи ушла в Красную Армию. Аулы опустели. Могли ли такие горячие и отважные юноши, как Вепа, усидеть на месте, когда враг нацелил свой кровавый кинжал в сердце родины? Когда грозная опасность нависла над страной, Вепа тотчас подал заявление в военкомат, и был в числе первых добровольцев отправлен на фронт. Там, на полях сражений, среди жарких схваток с врагом, среди тяжелых испытаний фронтовой жизни, Вепа нашел новых друзей. Особенно крепко подружился он с сержантом своего подразделения Петром Морозовым — русским парнем, родившимся и прожившим всю жизнь в Туркмении.

Однажды в тяжелом бою Вепа и Петр остались вдвоем у орудия, весь расчет которого был выведен из строя. Орудие Вепа не молчало безостановочно посылая оно огонь на атакующие немецкие войска. Но никто не мог притти Вепа и Петру на подмогу, так как в ходе боя они оказались отрезанными от наших частей.

Вепа был тяжело ранен и сказал Петру:

— Улучи удобный момент и отходи. Обо мне не думай. Чему быть, того не миновать.

— Нет, я товарища не брошу, погибать — так вместе, — сказал Петр.

Взвалив Вепа себе на спину, Петр, пригибаясь к земле, сбегал в низину. Пули сыпались градом. В сумеречном свете морозного зимнего вечера на белом снегу проступали темные ржавые пятна — кровавый след, отмечавший путь Петра, который нес на себе истекавшего кровью товарища. Петр радовался надвигающейся темноте и упорно шел вперед, стараясь добраться до какогонибудь укрытия. Снутившись со своей ношей в овраг, он опустил Вепа на снег.

Вепа лежал неподвижно и, наклонившись над товарищем, Петр увидел, что тот потерял сознание. Петр снова взвалил его на спину и стал медленно продвигаться дальше. Скоро он добрался до опушки леса. Зайдя подалее вглубь леса, он опустил Вепа на землю и перевязал ему раны.

Мрак сгущался. В безветренной морозной ночи лес стоял пригнетый, молчаливый. Только откуда-то из темноты доносилось бряцание проходивших за лесом тяжелых машин да отдаленный гул орудий. Временами темные вершины деревьев озарялись лучами прожекторов.

Когда Вепа очнулся, Петр развязал свой вещевой мешок, покормил Вепа и сам поел. Потом, набрав хворосту, устроил для Вепа постель на снегу и сел рядом, решив до утра не смыкать глаз. Он сидел и зорко вглядывался в темноту. После полуночи подул легкий ветерок, и Вепа почудилось в нем что-то, заставившее его насторожиться. Он пробормотал:

— Дымком потянуло...

Кочевники, дети степей, всю жизнь проводящие под открытым небом, мгновенно чуют самый легкий запах дыма, доносимый

ветром от далекого становища, и Вепа унаследовал от своих далеких предков зоркий глаз и острое чутье.

Запах дыма, который почудился ему в дуновении ветра, не был игрой воображения. Лишь только забрезжил рассвет, Петр отправился осматривать местность и у опушки леса столкнулся с четырьмя красноармейцами. Прихватив с собой одного из них, Петр пошел дальше и вскоре за лесом увидел деревню. Пробравшись тайком в деревню, он раздобыл еду для себя и своих товарищей и собрал сведения о расположенной в деревне немецкой части. Итак, они были у немцев в тылу. На другой день Петр снова пошел в деревню, и там его свели с красноармейцами, которых прятали у себя колхозники. Дождавшись темноты, красноармейцы вместе с Петром выбрались из деревни и ушли в лес. Петр привел их к своим товарищам и сказал:

— Ну, теперь мы стали целым войском. Нас двенадцать человек, у всех есть оружие—зададим немцам жару. Отныне мы начинаем новую войну—аламанство, как называют это в туркменском народе.

— Правильно, — сказал Вепа. — Будем партизанить. Будем уничтожать немцев. В такой войне, действуя осторожно и хитро, можно большой урон нанести врагу. И, как знать, может быть, нам удастся пробиться к своим.

В первый раз, отправляясь на боевую вылазку, Петр взял с собой восьмерых бойцов. Они вернулись через два дня. Усталость валила их с ног, один боец был серьезно ранен, но все были веселы и горды результатами своего первого набега. Им удалось разрушить мост на немецкой переправе, поджечь семь грузовых машин и уложить на месте несколько немецких солдат. Петр так развеселился, что затянул потихоньку свою любимую песню из Гер-Оглы:

В час битвы уьемся мы красным вином,
Кровь недругов мы на снега прольем!

Только один Вепа понял слова этой песни, но все притихли, слушая взволнованный, приглушенный голос певца. С этого дня Петр назвал свой отряд «Отрядом Гер-Оглы».

Потянулась полная опасностей, безаветной отваги, мужества, неразрывной товарищеской спайки беспокойная партизанская жизнь. Раны Вепа зажили, и он вместе с другими бойцами стал принимать участие в боевых действиях своей маленькой партизанской группы. Бывали дни больших удач, бывали дни тяжелых потерь. Но из каждого нового испытания отважные партизаны выходили еще более мужественными и закаленными; они накапливали боевой опыт, а в сердце — неутолимую ненависть к врагу. Однажды отряду Гер-Оглы очень повезло. Ему удалось наладить связь с крупным, регулярно действовавшим в тех местах партизанским отрядом. После многих тяжелых и кровопролитных схваток партизаны обоих отрядов, объединившись, вырвались из немецкого окружения и соединились с нашими регулярными частями.

Как-то раз, когда подразделение Вепа стояло на отдыхе, Петр

отправился в соседний город, где расположился штаб дивизии. Когда Петр вернулся, Вена сразу заметил, что его друг чем-то взволнован. Он как-то лукаво поглядывал на Вена, и вид у него был торжественный и таинственный. Подмышкой он держал какой-то сверток.

— Что это у тебя? — спросил Вена.

— Не спеши, все узнаешь в свое время, — загадочно ответил Петр. — Видишь — посылка...

— Что за посылка?

— Посылка как посылка... Все посылки одинаковы.

— Так давай посмотрим, что там такое, — сказал Вена и потянулся к свертку, но Петр схватил его за руку.

— Я сказал, не следи. Очень уж ты прыток. Ты знаешь, кому эта посылка?

— Нет.

— Ну вот видишь!

— Я думал, что тебе. А кому? — Петр молчал, глядя смеющимися глазами на Вена, и все так же загадочно улыбался. Наконец он сказал:

— Эту посылку просили меня передать Вена Аманову.

— Мне? Да ты шутишь! А кто послал?

— Тебе, тебе. А кто послал? Не знаю...

— Ну, брось... Да ты выдумал все — кто это будет посылать мне посылки, когда от меня даже отец с матерью отреклись!

— Поглядите на него! — воскликнул Петр. — Присягу тебе, что ли, принести? Тебе посылка, понимаешь — тебе! — Он повертел посылку в руках. — Тут, правда, ничего не написано, да верно, впопыхах забыли... В общем, посылка тебе, а за второй просили явиться лично... — Петр умоляюще и искоса поглядел на Вена. Вена молчал в полном недоумении.

— Разрешите вскрыть, товарищ капитан? — спросил Петр.

— Ну что ж, вскрой.

Петр вынул нож и стал вспарывать мешок. Вена прилег на кровать и молча наблюдал за товарищем. Петр вынул из мешка конверт.

— Ну, я так и знал! — воскликнул он. — Вот вам письмо, товарищ капитан!

Вена, приподнявшись на локте, с лету поймал брошенное ему письмо. Он прочел надпись на конверте и изменился в лице. Он молча смотрел на конверт, словно не верил своим глазам. Петр, внимательно наблюдавший за ним, весело расхохотался.

— Ну что, поверил теперь? — спросил он.

— Да... Поверил... — машинально пробормотал Вена, продолжая смотреть на конверт. Почерк не изменился. Это был все тот же красивый твердый почерк, которым Мяхриджамал славилась еще в школе.

— Ну как? Прикажете продолжать осмотр? — спросил Петр.

— Продолжай, — точно в забытии ответил Вена. Все это было слишком похоже на сон!

Петр вынул из мешка два куска туалетного мыла, одеколон, плитку шоколада, носовые платки и небольшой мешочек из шелкового полотна, расшитый цветными нитками и отороченный бахромой. В старину такие мешочки служили у туркмен для чая. Нежно разглаживая своими загрубелыми пальцами маленький шелковый мешочек, Петр сказал:

— Да... Красивая штучка. Точно знала она, что твой кисет сержит прожег. Ну, кажется, теперь все, — прибавил он, выворачивая мешок наизнанку.

Вепа наконец пришел в себя.

— Петр, ущипни меня, может быть, я сплю? — сказал он и встал с постели. Петр, скорчив глубокомысленную гримасу, обошел вокруг Вепа, оглядывая его со всех сторон, и наконец изрек:

— Никак нет, товарищ капитан, ты не спишь, а бодрствуешь... если, конечно, не сплю я. Только вид вы имеете какой-то чудной, словно у вас не все дома...

Вепа как-то странно улыбнулся. Такую улыбку Петр впервые видел на лице друга. В ней как будто была и радость, и мука.

— Читай же письмо, — став серьезным, сказал Петр.

— Нет, ты расскажи сначала, как ты с нею встретился? — попросил Вепа, и Петр рассказал, что встретил Мяхриджамал в дивизионном госпитале, где она работает врачом. Ему, конечно, сначала и в голову не пришло, что эта девушка-туркменка и есть та самая Мяхриджамал, о которой он так много слышал от своего друга, но когда они разговорились и девушка узнала, что Петр родом из Ашхабада, она спросила: „А вы не встречались там с Вепа Амавовым?“ И тут Петр воскликнул: „А вы, верно, Мяхриджамал?“. И это действительно была Мяхриджа ма, и она повела Петра к себе, напоила его чаем и приготовила для Вепа посылку.

— Ну, вот и все, а теперь читай письмо, — сказал Петр, встал, закурил папиросу и вышел из землянки, чтобы не мешать Вепа.

Вепа разорвал конверт.

Привет тебе, Вепа!

Где бы ни был ты — близко ли, далеко ли — мое сердце всегда с тобой, и из глубины этого сердца я посылаю тебе свой привет.

Вепа! Еще девочкой-подростком я полюбила тебя. Эта тайна жгла мое сердце, и однажды я решилась открыть ее тебе.. Вепа, вспомни ту ночь! С тех пор минуло почти десять лет, а тайна моя так и осталась нераскрытой. Я своими руками убила свою надежду на счастье, я совершила преступление пред своей любовью... Вепа! Я вивюсь перед тобой, я стою перед тобой с поникшей головой, как преступница. Проходили дни, месяцы, годы, а тяжесть, лежавшая у меня на душе, не уменьшилась. Наоборот, с каждым днем, с каждым часом я страдала все сильнее. Ведь я предала своего возлюбленного, которому было отдано мое сердце. Читал и перечитывая „Гульшен и Хазан“, я обливалась слезами, Вепа! Ты помнишь эти строки:

О скорбы! Своей рукой я саван для себя соткала!

Как знать, если бы стечения моего сердца коснулись слуха поэта, быть может, повесть еще более печальная, чем „Гульшен и Хазан“, стала достоянием всего мира.

Вепа! Я давно хотела написать тебе и не решалась. Но вот здесь, на фронте, где смерть караулит каждого из нас, узнав, что ты так близко, совсем рядом со мной, я не могла больше молчать и таиться. Быть может, я опоздала... Быть может, мое признание вызовет теперь в тебе только досаду. Быть может, оно покажется тебе помехой на пути новой любви, которая уже владеет твоим сердцем. Если ты уже нашел себе другую возлюбленную, тогда молю тебя об одном: прости мне мою прошлую вину и забудь все, что я тебе написала. Если же твое сердце еще свободно, и ты не совсем забыл свою школьную подругу Мяхриджамал, может быть, ты найдешь ей прощение в своем великодушном сердце, и тогда, Вепа, ты сделаешь меня самой счастливой девушкой на свете, ты снимешь черный саван с моей души и скорбь мою превратишь в радость. Ах, если бы это могло сбыться!

Прощай, Вепа! А может быть — до свиданья!

Я буду ждать твоего письма.

Твоя Мяхриджамал.

Когда Петр, вдоволь побродив по лесу, вернулся в землянку, Вепа даже не шевельнулась и не повернула головы на звук его шагов. Он сидел совершенно неподвижно, в глубокой задумчивости устремив взгляд на письмо.

Глава IV

На смуглом, изборожденном морщинами лице Оразгюль на правой щеке было небольшое родимое пятно. Заглубившие в труде руки ее были ловкими и сильными, грудь — крепкой и полной. Ей уже стукнуло под пятьдесят. Она была достойной, всеми уважаемой женщиной. Но важничать, спесивиться перед другими колхозниками — это было не по ее части. Никто не слышал, чтобы она сказала: „Я — жена председателя колхоза“. И сплетничать, судачить, как другие кумушки, Оразгюль тоже не любила. Она родилась в трудовой семье, выросла и состарилась в трудах, и жизнь без труда показалась бы ей чем-то тоскливым и непонятным. И Оразгюль целыми днями стирала, ходила за скотиной, ткала ковры... Глядя на ее узловатые, заглубившие пальцы, трудно было себе представить, что они способны создавать такие тонкие затейливые узоры.

В молодости Оразгюль пришлось хлебнуть немало горя, жизнь ее была нелегкой. Аман Полчи служил тогда джигитом в царском полку. Раз в два месяца он в красном халате, с желтыми погонами на плечах и саблей на боку приезжал домой на своем гнедом коне и, побыв дома два-три дня, уезжал обратно в полк. Он привозил Оразгюль те крохи, которые оставались от его жалования. И забота о семье всей тяжестью ложилась на плечи Оразгюль.

Зато теперь в доме Оразгюль полный достаток. Ну, и хлопот,

конечно, немало. Молочная корова, четыре хорошо откормленных жирных барана, верблюдица для чала... Чтобы за всем этим усмотреть, нужен хозяйский глаз и проворные руки. А еще сад, да огород, да новый дом, полный всякой утвари... Меньше всего хлопот доставляли Оразгюль куры. Поклюют себе, поклюют, а как придет время, сами соберутся в свою клетушку на насест... Может быть поэтому Оразгюль особенно любила своих кур. Но зато уж, если теперь много было у Оразгюль хлопот, то семья не знала нужды, и в доме всегда стоял полный чумал муки. И когда семья собиралась у очага, и Оразгюль видела вокруг себя здоровые лица, сердце ее наполнялось гордостью.

Сегодня Оразгюль, накормив обедом мужа и свекра, дождалась, когда они оба ушли, и, оставшись одна, достала из угла свой старенький сундучок. Месяц назад, получив из военкомата извещение о смерти своего старшего сына Оразкули, Оразгюль отнесла в комиссию, собиравшую средства на постройку танковой колонны, пять килограммов своих серебряных украшений. Теперь она решила посмотреть, не осталось ли у нее еще чего-нибудь. Вот позолоченные браслеты. А вот серебряные детские украшения, которые носила когда-то Оразкули и Мурат. Теперь эти драгоценности принадлежат их женам, и те наденут их на своих детей.

А чьи же эти украшения?.. Руки Оразгюль задрожали, и крупные слезы закапали на позолоченные безделушки, отчего те вдруг заискрились и засверкали, словно осыпавшие бриллиантовой росой. Оразгюль горько плакала, сжимая в руках детские украшения, которые носил Вепа. И впервые раз за всю жизнь осуждение проникло в ее душу, и она с горечью подумала о муже: «Ах, видно, нет сердца у Амана Пошчи!»

В эту минуту кто-то постучал в дверь. Наспех утерев слезы концом головного платка, Оразгюль отворила дверь, и в комнату ворвался Чушегоз — всегда суетящийся и ведаде поспевающий счетовод правления колхоза.

— Поздравляю, — закричал он еще с порога и, схватив руку Оразгюль, начал ее трясти. Потом вытащил из кармана смятую газету и торжественно провозгласил: «Слушай!», начал читать вслух. И Оразгюль, затаив дыхание, слушала напечатанный в газете очерк, в котором говорилось, что ее сын Вепа, произведенный ныне в капитаны, отличился во многих боях, был дважды награжден, а теперь представлен к новой высокой награде.

Плача и смеясь от радости, Оразгюль, как сына, обняла Чушегоза и тут же пообещала ему за добрую весть шелковый халат своего тканья. Оставшись одна, Оразгюль снова положила себе на колени серебряные украшения Вепа, и снова из глаз ее ручьем полились слезы, но теперь уже это были слезы радости.

Когда стемнело, с богарных полей вернулся Аман Пошчи. Войдя во двор, он увидел, что на веранде его дома собралась целая толпа женщин, которые, обступив Оразгюль, о чем-то оживленно с ней беседуют. Это не удивило Амана Пошчи — он привык видеть гостей в своем доме, особенно после того, как стал председателем

колхоза. Правда, сегодня сборище показалось ему многолюднее обычного. Но что повергло его в немалое изумление — так это наряд Оразгюль. На Оразгюль было новое платье, которое она надевала только по большим праздникам или на свадьбы, а с начала войны еще не надевала ни разу. Ничем не выдав своего удивления, Аман Пошчи поднялся на веранду и сел к столу.

— Обедать будешь, Пошчи, или дать тебе чаю? — спросила Оразгюль, и голос ее прозвучал весело и звонко, как у молодой девушки.

Аман Пошчи, покосившись на жену, ответил:

— Давай чай. С обедом можно повременить.

Оразгюль заварила чай, поставила перед Аманом Пошчи пиалу и села рядом. С другого конца веранды, где расположились женщины, до Амана Пошчи доносилось перешептывание и приглушенный смех. Аман Пошчи выпил одну пиалу, налил вторую. Тогда Оразгюль заговорила, и на другом конце веранды сразу воцарилась тишина.

— Вот, Пошчи, ты все время твердил, что у нас остался только один сын, и эти твои слова иссушили мое сердце...

Аман Пошчи сердито прервал жену:

— Говорил и буду говорить: один у нас сын — Мурад, и он доблестно сражается за родину.

Но Оразгюль, никогда прежде не перечившая мужу, сказала:

— Нет, Пошчи, это ты неверно говоришь. До сих пор я молчала, а теперь уж больше не стану молчать. Два сына у нас. Два. И оба на фронте. Вепа, наш сын, тоже на фронте.

Аман Пошчи презрительно фыркнул.

— Этот твой Вепа, если он жив, и на тысячу километров не приблизится к фронту. Небось, шатается где-нибудь по Ашхабаду.

— Нет, неправда, — сказала Оразгюль твердо и вынула из-под платка газету. — На, прочти.

Но Аман Пошчи даже не взглянул на газету и продолжал молча пить чай.

— Садап! — позвала Оразгюль одну из девушек. — Прочти, пожалуйста.

С досадой поглядев на жену, Аман Пошчи проворчал:

— Гадаңья и наговоры надоели — теперь за газету взялась...

Меж тем Садап начала читать, и Аман Пошчи, обращавший сначала на ее чтение не больше внимания, чем на жужжание мухи, невольно вздрогнул и стал прислушиваться.

«Вепа Аманов, — читала Садап, — с первых дней войны пошел добровольцем на фронт и командовал артиллерийским подразделением. В одном бою, будучи тяжело ранен, геройски отставал до последнего снаряда важную высоту и попал в окружение. В тылу у врага Вепа Аманов в чрезвычайно тяжелых условиях вел партизанскую борьбу и сам лично нанес немцам немалый урон. Через полгода Вепа Аманову удалось вырваться из окружения, и он вернулся в свою часть, где был представлен командованием к боевой награде и получил звание капитана. Недавно артиллерийское под-

разделение под командованием капитана Вера Аманова участвовало в бою, от исхода которого зависело проведение стратегически важной операции. Подразделение блестяще выполнило возложенную на него трудную и ответственную задачу. Долговременные железобетонные укрепления немцев были сметены с лица земли огнем нашей артиллерии, и враг вынужден был отступить. За отличное выполнение боевой задачи и проявленный при этом личный героизм капитан Вера Аманов снова представлен к награде. Мы, к сожалению, лишены возможности подробно описать все героические дела доблестного сына нашей родной Туркмении..“ старательно, чуть запынаясь от волнения, читала Садап, но Аман Пошчи, уже оправившись от изумления, вызванного неожиданностью, повернулся к жене и спросил в сердцах:

— Так ты что, уже вообразила, что этот капитан Вера Аманов не кто иной, как твой сын?

— Да, да, это наш Вера, — спокойно ответила Оразгюль.

— Глупости, — закричал Аман Пошчи. — Мало ли Вера и Аманов на свете. Да понимаешь ли ты, что такое военная служба, дурья ты голова. Капитан! Шутка сказать. Да твой Вера, если даже он и попал на фронт, так до ефрейтора, небось, еще не дослужился. Ты смотри, этих глупых слов нигде не повторяй, засмеют.

— А вот посмотрим. Читай дальше, Садап, — все так же спокойно и с достоинством сказала Оразгюль.

Не желая при посторонних вступать в пререкания с женой, Аман Пошчи только презрительно пожал плечами и снова принял-ся за свой чай. Садап читала:

„Отец Вера, Аман Пошчи, — герой-колхозник, в своей работе ночь превративший в день, — председатель одного из передовых колхозов Туркмении — колхоза имени Сталина, занявшего первое место по району. Старый джигит Аман Пошчи тоже сражался с немцами еще в первую мировую войну и был за храбрость дважды награжден георгиевским крестом..“

Аман Пошчи посмотрел на Садап. Ему показалось, что девушка сочинила это все сама.

— Что ты там выдумываешь? А ну, дай сюда газету, — сердито сказал он. Садап молча протянула ему газету. Аман Пошчи долго внимательно пробежал глазами строки.

— Откуда они знают, что в прошлую войну я получил два креста, — в сильном волнении пробормотал он, словно разговаривая сам с собою.

— Ну что, поверил теперь, что это твой сын? — торжествующе спросила Оразгюль.

— А какое мне до всего этого дело, — упрямо крикнул Аман Пошчи. — Да и мало ли что пишут.. Поди еще проверь...

Женщины, улыбаясь и перешептываясь, ушли. Оставшись вдвоем с Оразгюль, Аман Пошчи спросил:

— Куда это они разбежались?

— Да разве ты не знаешь? Говорят, Коч Мурад приехал из го-

рода и собирает весь аул. О чем-то рассказывать будет, — многозначительно сказала Оразгюль.

Аман Пошчи шел чай, молчал и думал: „Все это чепуха. Кто-то услышал что-то краем уха и, не проверив толком, бухнул статью в газету.“

Напившись чаю, Аман Пошчи поднялся и не торопясь направился в клуб, где обычно проводились колхозные собрания. Комната была битком набита народом. Аман Пошчи остановился в дверях и стал слушать. С первых же слов он понял, что и здесь говорят о том же. Коч Мурад рассказывал о героизме Вепа и превозносил его на все лады. Аман Пошчи боком проскользнул в дверь и пошел домой.

Дома Оразгюль спросила:

— Ну, о чем говорили на собрании? — и рассмеялась. Как видно, она все знала, и спрашивала только, чтобы подзадорить мужа.

— А, делать народу нечего, — с досадой сказал Аман Пошчи и задумался.

По окончании собрания Коч Мурад и кое-кто из колхозников пришли поздравить Амана Пошчи.

— Мы думали, что ты в поле, и потому Сахат проводил собрание вместо тебя. А ты что ж не пришел? — спросил Коч Мурад.

Аман Пошчи ответил уклончиво:

— Да я недавно вернулся с поля. Думал, что уж поздно теперь.

Весь вечер только и разговору было, что о Вепа. Аман Пошчи слушал, никому не возражал, но сам о сыне не сказал ни слова — ни дурного, ни хорошего. События этого дня ошеломили его. То, что он услышал о своем младшем сыне, как-то не укладывалось у него в голове. „Двадцать лет я служил джигитом, — думал Аман Пошчи, — и не получил ни одной нашивки, так джигитом и остался. Как же это может быть, чтобы Вепа уже произвели в капитаны.“ И он с сомнением качал головой.

Зато старый Клыч Мерген был особенно разговорчив в этот вечер.

— Я знал, что этот внученок мой не пропадет, что он сумеет постоять за себя, — говорил он. — Ведь он вон какой шустрый был, какой смелый. Я на него крепко надеялся, знал, что он поддержит честь своего народа. Так вышло. — И Клыч Мерген принимался рассказывать длинные истории о различных проделках Вепа в детстве. А Оразгюль, которая, не чуя под собой ног от радости, суетилась вокруг гостей, стараясь попотчевать каждого, чуть не плакала от счастья, прислушиваясь к его словам.

Глава VI

У колхозного правления остановилась легковая машина. Из машины вышел шофер и, войдя в дом правления, спросил:

— Кто здесь будет Сахат, заместитель председателя колхоза?

— Я Сахат.

— Тогда поедемте со мной. Мне велено привезти вас в город, — сказал шофер и начал шарить за пазухой.

— В город? Зачем? — спросил Сахат.

— Не знаю. Мне только сказано: „привези“, — ответил шофер и, глядя на бумажку, которую достал из-за пазухи, прибавил: — И еще я должен привезти товарища Клыч Мергена и товарища Чушегоза.

Услышав, что за ним прислали машину и он должен ехать в Ашхабад, Клыч Мерген сказал только:

— Поедем, если зовут, — и стал обувать чарыки. Чушегоз побежал переодеться и явился в шелковом халате, подпоясанный широким кушаком, из-за которого торчал чурек.

— Ты что в шелковый халат вырядился? На той, что ли едешь, — усмехнулся, увидав его, Сахат.

— Да ведь, верно, и не на похороны, — отшутился Чушегоз. — Мы же из колхоза-миллионера, надо не ударить в грязь лицом.

Клыч Мерген, словно собираясь на охоту, привесил к поясу все свои старинные доспехи. Он даже прихватил старое ружье. Оразгюль вынесла торбу с чуреками и тяжелую шубу свекра, сшитую из семи бараньих шкур. Клыч Мерген накинул шубу на одно плечо и взял из рук Оразгюль торбу. Она показалась ему слишком тяжелой, и он заворчал, заглядывая внутрь:

— Чего тут еще наложили?

Оразгюль сказала, улыбаясь:

— Ничего особенного, дедушка. Я прибавила еще горсти две кишмиша. Пожуеть дорогой.

— А кто просил совать мне сюда кишмиш? Ну ладно, положила, так уж пусть лежит.

Когда Аман Пошчи увидел старое ружье отца, он воскликнул:

— Ну, что ты будешь делать? Скажи хоть ты ему, Сахат, — зачем тащить в город эту старую рухлядь!

Услышав эти слова, Клыч Мерген сбросил с плеч шубу, уселся на нее прямо посреди двора и спросил:

— Ну, Аман Пошчи, кого зовут в город, в учреждение — тебя или меня?

— Тебя, отец, только незачем тащить с собой все это старье.

— Если это старье не поедет, так и я не поеду. Слышишь, Аман Пошчи! А ответ ты держать будешь, если спросят: „Почему не приехал Клыч Мерген, когда мы его звали?“

— Ну, к чему так гневаться, Клыч ага, — примирительно сказал Сахат. — Я бы тоже не стал брать с собой в город ружья.

Клыч Мерген хотел что-то возразить, но смолчал и, ни слова не говоря, отнес ружье в дом. Садясь в машину, он проворчал:

— Вот ведь несчастье, в самом деле, — далось им мое ружье. Скоро меня в этом ауле совсем со света сживут. Шагу ступить не дают. — Успокоившись наконец, он умолк и первую половину пути не проронил ни звука.

Когда машина выехала на мощеное шоссе, Клыч Мергена начало подбрасывать на пружинах сиденья, и он подумал растерянно: „Должно быть, на старости лет я стал легким, как птица, — все прыгаю и прыгаю.“ Такое поведение казалось ему неприличным для его возраста, и он со всех сил старался вдавиться в сиденье,

но продолжал хранить упорное молчание. И только когда по обеим сторонам шоссе начали появляться высокие здания в два-три этажа, старик не выдержал:

— Сахат, куда это мы приехали?— спросил он в изумлении.

— В город, Клыч-ага, в Ашхабад.

— Ай, да тут раньше голая степь была, — и, покачав головой, Клыч Мерген раздумчиво промолвил: — Один туркмен на старости лет совсем оглох. Вот увидел он раз барана и говорит: „В старину-то, когда я молод был, бараны, поди, блеяли, а теперь только рты открывают“. Сдается мне, что и я сейчас вроде этого старика.

Машина остановилась перед невысокой оградой.

— Вот сюда входите, — сказал шофер, отворяя калитку. Сахат вошел первым. За ним последовали Клыч Мерген и Чушегоз. В глубине двора они увидели домик с верандой. На веранде стоял молодой офицер. Увидав вошедших, он сбегал с веранды и бросился им навстречу.

— Сахат-ага! — еще издали закричал он.

— Веп! — воскликнул Сахат, не веря своим глазам, и обнял юношу. По щекам у него заструились слезы.

Клыч Мерген стоял, не двигаясь с места, и во все глаза смотрел на своего внука:

— Да ну!.. И вправду Веп, — наконец вымолвил он.

— Я, дедушка, я, — воскликнул Веп и обнялся со стариком, а потом с Чушегозом. Стоя посреди двора, они забросали друг друга вопросами.

— Как мать? Здорова?— спрашивал Веп. — Как наш аул? Неужто все то же улицы, кривые да узкие, и верблюды сталкиваются и не могут разойтись, и пыль кругом.

— Какие там верблюды, — отозвался Клыч Мерген. — У нас теперь новый аул, улицы широкие — хоть четыре машины в ряд пускай, сады, огороды, дома большие... Увидишь, не поверишь глазам.

— А вот кончится война, еще много кой-чего сделаем, — сказал Сахат. Веп повел гостей в дом. Войдя в комнату, они увидели длинный стол, уставленный закусками и винами. За столом сидело человек двенадцать гостей. При виде такого сборища Сахат, который шел впереди, немного оробел и тихо произнес:

— Здравствуйте!

Веп усадил Сахата и Чушегоза за стол. В подражание горожанам они сняли свои большие шапки и бросили их в угол на пол. Клыч Мерген за стол не сел. Окинув взглядом комнату и не найдя в ней ничего, кроме стола, стульев и кушетки, он отошел к сторонке и, сняв с плеч шубу, бросил ее на пол. Веп сказал:

— Ата, подожди немного, — и вышел из комнаты.

А Клыч Мерген не удержался и проворчал себе под нос:

— Что же это за дом, — без ковра, без коньки.

Веп принес ковер и подушку. По обычаю Клыч Мерген, прежде чем ступить на ковер, должен был снять с ног чарыки. Но он, как видно, смущался такого многолюдного сборища и, решив на этот раз пренебречь обычаем, ступил на ковер в чарыках. Веп

поставил перед стариком большой чайник зеленого чая и пшалу. Клыч Мерген с довольным видом поглядел на объемистый чайник. Налив в пшалу чай, он вылил его обратно в чайник, снова налил в пшалу и снова вылил в чайник. Потом вынул из шапки платок и накрыл им крышку, чтобы чай хорошенько настоялся. И все-таки старику было как-то не по себе. Он сам себе казался похожим на человека, который собирается наскоро выпить чай и куда-то бежать. Это ощущение появлялась у него всякий раз, как он взглядывал на свои ноги, обутые в чарыки. Чарыки явно портили ему настроение, мешали всласть насладиться чаем. Наконец он подумал: «Сниму-ка я чарыки и понюю чайку, как полагается». Придя к этому решению, он проворно разулся, сел поудобнее, поджав под себя ноги, и, накинув на плечи шубу, хотя в комнате было очень тепло, принялся за чай.

За столом веселье было в полном разгаре, когда в комнату вошла пожилая женщина и что-то прошептала Вепа на ухо. Вепа встал.

— Простите, друзья, — сказал он. — Я вас на минуту покину. Ко мне пришел гость, которого я очень долго ждал. Я должен его встретить. — И с этими словами он вышел из комнаты.

За столом продолжалась оживленная беседа. Но вот дверь отворилась, и Вепа ввел в комнату двух девушек. Большинство из гостей обе девушки были незнакомы, но Клыч Мерген, Сахат и Чушегоз к небольшому своему изумлению узнали в одной из них Мяхриджамал.

— Итак, друзья, — сказал Вепа, взяв Мяхриджамал за руку. — Это и есть тот гость, о котором я вам говорил, гость, которого я долго ждал — не сегодня, а много лет. Зато теперь Мяхриджамал, войдя в мой дом гостьей, останется в нем хозяйкой на всю жизнь. А это, — продолжал Вепа, — Елена Морозова, жена моего боевого товарища и друга Петра Морозова, который спас мне на фронте жизнь. Прошу любить и жаловать.

Все встали.

Шумные приветствия и поздравления огласили комнату. Мяхриджамал села за стол рядом с Вепа и как хозяйка стала потчевать гостей. Той затянулся далеко за полдень. Когда гости разошлись, Вепа остался с Мяхриджамал и своими односельчанами. Еще долго сидели они, беседуя, вспоминая далекие годы и старый аул. Клыч Мергена первого потянуло ко сну. Вепа, послав в спальню на полу ковер, приготовил ему постель. Старик лег и укрылся своей шубой. Потом Вепа уложил спать и Сахата. Оставшись втроем, Вепа, Мяхриджамал и Чушегоз засиделись до рассвета. Они все были погодками, учились в одной школе — им было что вспомнить.

На другое утро Сахат и Чушегоз вернулись в аул, но Клыч Мерген остался потостить у внука. Днем Мяхриджамал и Вепа повели старика смотреть Ашхабад. Широкие, прямые, как стрела, улицы, обсаженные деревьями, и высокие красивые здания привели старика в простодушный восторг. Долго бродили они по городу, и лишь, когда начало смеркаться, по тихим вечерним улицам направились домой...

Отпуск Вепа подошел к концу. Когда он уезжал, провожать его на вокзал пришли все его друзья и подруги Мяхриджамал. Его молодая жена стояла рядом с ним и украдкой пожимала своей маленькой смуглой ручкой его мускулистую руку. Из аула приехал Сахат. Пришел и Клыч Мерген. Мяхриджамал не плакала. Ронять слезы на проводах издавна считается у туркмен дурной приметой, и Мяхриджамал крепилась изо всех сил. Только, удлив минуту, когда они остались вдвоем, она бросилась Вепа на грудь и крепко к нему прижалась. „Неужели это навсегда?“ — промелькнуло у нее в голове, но она отогнала от себя черные мысли и даже попыталась улыбнуться.

— Все будет хорошо, Вепа, мой любимый, — сказала она чуть дрогнувшим голосом. — Я знаю, ты вернешься. Я люблю тебя, и ты вернешься.

Клыч Мерген сказал своему внуку на прощанье:

— Возвращайся со славой, не посрами своих предков.

Когда Вепа со своими друзьями стоял на платформе и к составу уже прицепили пытящий паровоз, и каждый из провожавших торопливо старался припомнить, не забыл ли он еще что-то сказать на прощанье, — Сахат, глянув в сторону, воскликнул удивленно и радостно:

— Вепа! Погляди-ка, кто пришел... — И все, обернувшись на его возглас, увидели, что по платформе торопливо шагает Чушегоз, а рядом с ним спешит Оразгюль.

— Мама! — воскликнул Вепа, и лицо его просветлело. Он рванулся к матери и заключил ее в объятия, когда она, плача в три ручья, прильнула к его груди. Немного оправившись от волнения, Оразгюль выхватила у Чушегоза из рук хурджин и, вытащив оттуда завернутые в платок пишие и кишмиш, заговорила торопливо, глотая слезы:

— Вот, Вепа, сыночек, вот это отец послал... Наказывал мне: „Ступай, проводи сына на фронт, отведи ему домашних гостинцев...“ Должно быть, господь бог стукнул его, наконец, по шее и просветил ему разум.

— Отец... — недоверчиво протянул Вепа, и голос его от волнения прозвучал хрипло. Он пытливо заглянул матери в глаза, но слова Оразгюль были близки к истине. Она уже давно с утра до вечера жужжала Аману Пошчи в уши: „Нужно и нам поехать повидаться с Вепа. Пора уж тебе помириться с сыном. Слыханное ли это дело — сын в отпуск приехал, женился, скоро назад уедет, а отец с матерью не встретили, не проводили, даже на свадьбе не были...“ Но Аман Пошчи, хоть и был в душе согласен с женой, ибо уже давно понял свою ошибку, все же никак не мог решиться пойти на мировую с сыном. По старым туркменским понятиям, это было не гоже для джыгита, и Аману Пошчи казалось, что народ засмеет его, если он так поступит. Однако, когда накануне отъезда Вепа на фронт в дом Амана Пошчи ворвался взволнованный, взлохмаченный Чушегоз и, отозвав Оразгюль в сторону, начал с ней о чем-то горячо шептаться, Аман Пошчи не выдержал:

— Ну, что еще наболтал тебе этот всезнайка? — сердито спросил он, как только за Чушегозом захлопнулась дверь.

— Завтра Вепа уезжает обратно на фронт, и Сахат с Чушегозом поедут его провожать, — одним духом выпалила Оразгюль и взглянула мужу прямо в глаза. Аман Пошчи задумался. Когда Оразгюль сказала „обратно на фронт“, он почувствовал вдруг, как у него заняло сердце.

— Хочешь ехать, так поезжай, я тебя насильно не держу, — сердито крикнул он, стараясь скрыть свое смущение. — А то ведь от тебя потом покою не будет.

И Оразгюль в ту же ночь замесила тесто и, поднявшись чуть свет, напекла пишме. Аман Пошчи, услышав поутру запах печеного теста, который приятно защекотал ему ноздри, прежде чем он успел открыть глаза, подумал: „Ишь, для сына старается“, но эта мысль уже не вызвала в нем привычной досады — наоборот, в душе он как-будто даже позавидовал Оразгюль. А Оразгюль за всю ночь не сомкнула глаз и наутро, когда Чушегоз зашел за ней, чтобы отвезти ее в город, ее трясло как в лихорадке. Ей все казалось, что они непременно опоздают и Вепа так и уедет на фронт, не повидавшись с ней, не узнав, что отец простил его и готов с ним помириться, и не отведав ее пишме, которые она напекла из лучшей муки, не пожалев на них масла...

Зазвенел звонок. Обняв в последний раз плакавшую навзрыд мать, Вепа обернулся к Мяхриджамал.

— До свиданья, Мяхри, дорогая, — сказал он и крепко сжал ее руку.

— До свиданья, Вепа, возвращайся с победой, — звонко сказала Мяхриджамал. Глаза ее были сухи. Вепа быстро обнял ее и вскочил на подножку. Поезд тронулся.

Перевела с туркменского
Татьяна Озерская.

ФАРХАДСКАЯ РАДУГА

РАДУГА

Средь выжженной солнцем равнины,
У края Фархадской плотины
Стою — и не в силах уйти,
Не в силах глаза отвести.

Тут волн светоносных кипенье,
Тут пены алмазный разлет.
В крутящейся солнечной пене
Тут радуга вечно живет.

То красным, то желто-зеленым,
То синим павлиньим пером
Она наклоняется к волнам
В цветном полукружьи своем.

Летит она, не улетая,
Цветет она, не отцветая,
Прозрачною влагой блистая,
На древнем песчаном пути.
И мне от нее — не уйти.

Зимой, в подземельи вокзала,
Во время тревоги ночной,
От друга я сказку слыхала
О радуге, о ледяной.

Как-будто бы стадо оленье,
Уставши по тундре блуждать,
Придумало выбрать мгновенье
И радугу с неба украсть.
Они встали друг против друга,
Вдавивши копыта в снега,
К цветной полосе полукруга
Ветвистые вскинув рога.

И влажное мерзло дыханье,
Дугой повисая меж них,
И северное сиянье
Коснулося глыб ледяных.
С тех пор и ущелие это
„Оленьим“ эвенки зовут
И в длинную ночь без рассвета
О радуге сказку поют.

А сказки то нет без былины,
И радуги нет без плотины,
И в этом все дело, мой друг...
Широкое русло прорыла,
Камнями его запрудила
Людей непреклонная сила,
И — вот он, цветной полукруг.

И вот у подножья плотины,
В разбеге блистающих вод,
Плывет отраженье вершины
И радуга вечно живет.
Летит она, не улетая,
Поет она, не умолкая,
Сиянием влажным блистая
На нашем с тобою пути.
О, как тебе к ней не притти!

Не слышишь? Не видишь?.. Не надо.
Увидит ее только тот,
Кто дышит ветрами Фархада,
Ветрами открытых высот.

1947 г.

ЭКИПАЖ ЭКСКАВАТОРА

Абдухаликову, Полнареву, Турабову.

Небеса в спиральных серых дыма,
Экскаватор вышел на забой...
Три товарища, три побратима —
„Экипаж машины боевой“.
Анарбай пришел сюда с колхоза
Пареньком четырнадцати лет,
Был кетменщиком и водовозом
И разгадывал машин секрет.
И когда, судьбу войны решая,
Сталинградские сраженья шли, —
В первый раз по воле Анарбая
Экскаватор поднял ковш земли.

Поседелый сумрачный Турабов
По пустыням Азии блуждал,
Был погонщиком он караванов,
По созвездиям пути искал.
И звезды пятиконечной, алой
Материнским светом озарен,
На дороге будущей канала
Стал известным человеком он.
А Владимир — русский калужанин —
Всю войну в строю провоевал.
Был под самым Бранденбургом ранен,
В Андижанский госпиталь попал.
Здесь его повсюду почитают:
Он как прежде — на передовой.
Боевые ордена сверкают
На груди гвардейца, молодой.
Жизни их причудливо несхожи,
Разны годы, разны имена.
Даже смуглая окраска кожи
У троих по-разному темна.
Но ветрами щеки обжигая,
Руки пылью угольной черня,
Подружила их передовая,
Породнила линия огня.
Небеса в спиралях серых дыма,
Горы грунта на горы встают.
Три товарища, три побратима
Экскаватор боевой ведут.
Смолкнет пыльных взрывов канонада,
Черная работа рычагов;
Новый житель города Фархада
У зеленых встанет берегов.
Встанет он, и на реку он глянет,
Что течет, голубишной звеня.
... Словом добрым, может быть, помянет
Тех, кто жил на линии огня.

1947 г.

ТАБЕЛЬЩИЦА ЗУЛЬФИЯ

Зульфие Игамбердыевой

Тоненькая, с розовым загаром,
В черном блеске глянцевитых кос,
Девушка стоит на камне старом,
Что венчает глиняный откос.
А над нею неба синий парус,
Вздутый ветром в золотой пыли,
А под нею — котлована ярость,

Груды развороченной земли
Тут работают кашка-дарьинцы,
Их кетмень пласты земли дробит.
... Девушка глазами певчей птицы
На дневную выемку глядит.
И тетрадь поставив против ветра,
Пишет в ней чернильные значки:
Скрыто сто четыре кубометра
На дороге будущей реки.
Девушка! Как ты сюда попала?
Где твой дом, зеленый край родной?
.. Я росла на берегах канала —
Он мой дом и путь широкий мой.
Если хочешь разгадать загадку
Новой человеческой души,
Загляни, поэт, в мои тетрадки,
И тогда стихи свои пиши*.
Девушка тетрадку протянула,
Улыбнулась и ушла она...
Со страницы на меня порхнула
Первая лазурная волна.
И почуввши волну губами,
Разорвав своих барханов цепь,
Подползла, ворочаясь песками,
Миразчуля вековая степь.
Ветер, ветер, — над простором синим,
Над огнями линии работ...
... Рядом дышит старая пустыня,
Маленькую табельщицу ждет.

1947 г.

ЛЮБОВЬ

Сабиру Хамидову

Закрывает степь темнеющая мгла,
И лишь дорога под ночной звездой
От блеска мелких камушков светла,
Уходит вдаль кремнистой полосой.
Какая ширь, какая тишина...
Рванетсямышь летучая под ноги,
Перебежит обочину дороги
Тушканчик серый, пробудясь от сна,
И — тихо, будто не было вовек
Ни шороха в степи, ни дуновенья...
Но вот идет дорогой человек,
Наверно житель ближнего селенья.
Остановясь пред маленьким холмом,
Кетмень устало опустив на землю,
Совсем один в безмолвии ночном,

Он говорит... И голосу я внемлю.
Он говорит: „Вот я пришел опять
Попцеловать песок твоей могилы,
Тебе про все, что сделал, рассказать
И в тишине набраться новой силы.
Моя Марьям, красавица моя!
Услышь меня, склонись ко мне звездою...
Все, что желала ты, исполнил я,
Мне кажется, я прав перед тобою“.
Что это, что?.. Он, правда, говорит,
Иль это все в моем воображеньи...
А голос снова явственно звучит,
Куда яснее, чем в стихотвореньи:
„Моя Марьям! Я помню, как сейчас,
Как в первый раз мы встретились с тобою,
Как ты смеялась уголками глаз,
От солнца черной заслонясь косою;
Как кетмени вдвоем подняли мы
И с той поры уже не расставались...
Моя душа! Три лета, три зимы
Мне днем одним весенним показались...
О, как была добра ты и горда,
Ты говорила: „Мы увидим сами,
Как побежит веселая вода
По руслу, вырытому кетменями.“
И даже после, мучаясь в бреду,
Сгорая в малярной огневнице,
Шептала ты: „Я воду поведу,
Своей водой сама хочу напиться.“
А где уж там... На следующий день
Могилы эта средь степей темнела.
Я обещал твой сохранить кетмень,
Доделать все, чего ты не успела.
И вот уж год, наладив деррик-кран,
На Гэсе отслесарив терпеливо,
Я за тебя спускался в котлован,
Твою работу выполнял ревниво.
Ну, девочка... как раньше, как тогда
Прилежно мы работали с тобою —
И вот на-днях веселая вода
Придет сюда лазурною волною“.
И он ушел... И снова тишина,
Ни шороха в степи, ни колыханья.
И звездами душа моя полна,
Мне больно и светло от их сиянья.
В ночной степи одна гляжу во тьму,
Горячих слез уже не вытираю...
О, если б знать, что к моему холму
Придет любовь, такая же большая.

ДРУГУ

Наконец ты пришел.

Ты сидишь у меня в кабинете.

Этот час только наш.

Крепко-накрепко заперта дверь.

Друг мой, давний мой друг,

Двадцать лет — чуть не четверть столетия

Мы с тобой не встречались.

Так что ж происходит теперь?

Просто встреча — и все?

Возвратиться на время в былое,

Солнце детской поры

попросить: „Подожди, посвети!“

Вновь бок о бок пройти

воскрешенного детства тропюю,

Не споткнувшись ни разу,

ни разу не сбившись с пути.

Вспомнить город старинный,

тот город, что все еще снится,

Каждым всплеском реки,

каждой улочкой свято знаком;

Не стыдась седины,

не скрывая слезы, прослезиться

Над каким-то былым,

лишь для нас дорогим пустыком.

Вспомнить старый каштан,

тот, что рос у родного пригорка,

День прощания с детством,

как детство, уплывший вокзал...

Друг мой, давний мой друг!

Почему же порою так зорко,

Так торжественно строго
мы смотрим друг другу в глаза?

Чем стал ты? Чем стал я?
Не напрасно ль на этой планете

Мы топтали траву
многотрудных бушующих лет...

Нет, не просто сейчас
мы с тобою сидим в кабинете:

Перед строгим судьей,
перед детством мы держим ответ.

Не ему ли сейчас
и читаю свой рапорт поэта,

Посвященный отважным, —
а значит, мой друг, и тебе, —

Тем, что в годы войны
прошагали с боями полсвета,

А сегодня в труде
так же стойки, как были в борьбе.

Не перед ним ли сейчас,
запинаясь от возбужденья,

Говоришь ты о том,
что меж нами различия нет,

Что электромеханика —
тоже стихотворенье,

Где детали, как рифмы,
а сложный расчет, как сюжет.

Детство, милое детство.
Трудны были наши скитанья.

Утро наших побед
зарождалось в жестоком бою.

Тем отрадней ответить
на этом священном дознаньи:

Мы ничем не запачкали
ясную память твою.

Ход времен беспощаден.
Мы оба давно уж не дети,

Но сквозь эти года
Сердце мы пронесли без потерь...

Друг мой, детство мое!
Ты сидишь у меня в кабинете.

Вечер смотрит в окно,
крепко-накрепко заперта дверь...

РОЖДЕНИЕ МОРЯ

1. Долина щедрот

Горы. Они обступили Зеравшанскую долину со всех сторон. Сколько богатств притаилось по укромным местам долины!

В горах Лянгара и Кайташа добываются вольфрам, молибден. Недалеко от районного центра Нур-ата на десятки километров протянулись залежи замечательного газганского мрамора. Это тот самый мрамор, которым были отделаны советские павильоны на всемирных выставках в Нью-Йорке и Париже. Этим же мрамором будет украшен Дворец Советов в Москве. На отрогах Агалыкских гор открыты залежи марганца. В Сукайтах начали разрабатывать уголь.

Высоко, у самых вершин, раскинулись горные пастбища. С осени и до апреля склоны гор покрыты обильными снегами. Они бесплодны и дикы. Но как только повеют теплые южные ветры и растают снега, горы зашумят тысячами бурных потоков, склоны покроются зеленым ковром трав и ярко-красными маками.

— Можно гнать отары, — говорят тогда скотоводы.

В горах и в долине пасутся сотни тысяч знаменитых каракульских овец. Черную как смоль шкурку — каракуль снимают чабаны с только что рожденного ягненка. Чернокудрявый каракуль — неопенимая драгоценность долины, золото ее.

Не только овцами богата долина. А хлопок! Его собирают здесь сотни тысяч тонн за год. Зерно! Им засевают тысячи гектаров. А сахарная свекла! Она появилась здесь в дни войны — из далеких степей Украины, Курской и Воронежской областей. Заботливые люди „эвакуировали“ ее в долину Зеравшана. Воля и труд колхозников обжили эту культуру. И теперь Узбекистан дает стране десятки тысяч тонн сахара. А виноградники! Они с незапамятных времен возделываются в этой долине. На самаркандских винокуренных заводах в огромных чанах, опущенных в подвалы, бродит молодое вино „Бишты“, „Аллиатико“, „Слезы Христа“. Вино — гордость долины, пенный сок здешней земли, густой и ароматный. Еще

богата долина душистым желтым абрикосом, мясистой вишней, сладкой черешней.

Лишь одна беда — маловодье из года в год омрачало жизнь колхозников. Десятки тысяч тонн хлопка, миллионы рублей ежегодно теряли из-за нехватки воды колхозы долины.

Еще не таяли ледники в горах, а поливальщики и мирабы уже обсуждали меж собой и подсчитывали, сколько воды даст нынче река, будут ли бурными паводки или опять надо ждать маловодья.

Особенно волновались бухарские колхозники. Легко говорить людям о высоком урожае, когда их поля серебрятся водой. А как быть шафрианцам, если их абрикосовые деревья и виноградники не дают плодов, если листья хлопчатника вянут и опадают. Как быть, когда новые красавцы каналы и арыки в знойное лето, в дни полива высыхают и дно их покрывается трещинами...

В феврале 1940 года на слете хлопкоробов Бухары стоял вопрос о воде. Из всех отдаленных кишлаков области прибыли колхозники с тем, чтобы окончательно решить эту извечную проблему. Люди не могли говорить спокойно, когда речь шла о воде. Одни ораторы гневно обвиняли самаркандцев — им хорошо сидеть в голове Зеравшана и командовать водой.

— Мы ждем воду и, как только появится она, купаем в ней младенца, чтобы не осквернить ее, а в верховьях Зеравшана в арыках моют баранов. Справедливо ли это?

— Не на самаркандцев ссылаться, а у ферганцев учиться нам надо, — говорили другие. — Они построили канал, который куда больше, чем Зеравшан. Воды-то сколько у них теперь стало!

— Каналы и у нас есть, да что толку, если Зеравшан не может наполнить их водой.

Спор был в разгаре, когда слово взял знатный колхозник Шафрианского района Шариф-бобо Хамраев.

Зал притих.

— Ваши речи справедливы. Вода земле нужна, как воздух человеку. Каналы пусты. Где взять воду? Как наполнить ею каналы именно тогда, когда в этом есть нужда? У Зеравшана мало воды ранней весной, а зимой и осенью река без толку разливается по низинам и засоляет землю. Правду я говорю?

— Верно! — зашумели в зале.

— Дед мой рассказывал мне. В далекие времена приходил к нам в долину со своими войнами Искандер Зюлькарнай¹. Он уничтожал города, сжигал кишлаки. Но народ не сдавался. Тогда Искандер придумал страшную кару жителям долины. Он построил плотину в горах, остановил Зеравшан, и река превратилась в озеро. С тех пор и зовется оно Искандер-Куль. Понятна ли вам речь моя?..

— Озеро, озеро нам нужно! — закричали в зале.

— И строить его следует, — продолжал Шариф-бобо, — в долине. Ферганцы построили канал, а мы должны построить озеро.

¹ Искандер Зюлькарнай — Александр Македонский.

Если мы выйдем всем народом, не устоят перед нами ни горы, ни реки. Мы у себя в долине сделаем море. Зимой мы загоним лишнюю воду в море, а весной пустим эту воду на поля. Я сказал все, что думал...

Так по великому почину ферганцев, построивших канал, в долине Зеравшана люди начали готовиться к стройке водохранилища.

II. И поднялся весь народ!

На автомашинах и пешком из края в край пересекали долину изыскатели — инженеры, техники. Надо было точно измерить, нанести на карту, составить описание будущего водохранилища.

В пяти километрах от Катта-Кургана отряд отыскал огромное логово, на дне которого лежали четыре кишлака.

Планы и расчеты изыскательного отряда были утверждены. Водохранилище решили устроить именно на этом месте. В долине стали готовиться к строительным работам, как к большому празднику.

В кишлаках и городах, на многочисленных собраниях в колхозах и на заводах, на заседаниях райкомов и райисполкомов горячо обсуждали вопрос о великой народной стройке. Подсчитывали материальные и людские ресурсы. В помощь строителям правительство выделило миллионные суммы денег, экскаваторы, тракторы, автомашины, лес, цемент, железо.

В штаб строительства бесконечным потоком поступали заявления, письма, просьбы со всех концов республики. Не только колхозники, но и рабочие, представители интеллигенции выражали искреннее желание активно участвовать в сооружении водохранилища.

Народное движение ширилось с каждым часом.

* * *

Необычайный шум ворвался в тишину рождающегося утра. Рокотали огромные медные карнаи. На вершинах холмов кричали глшатаи.

На колхозных дворах торопливо запрягали лошадей в арбы, грузили вещи, продукты. Гнали овец и коров — ведь колхозники уезжали надолго. Жены сердечно прощались с мужьями. Каждая совала в арбу подушку, одеяло, а напоследок — узелок с орехами, сладким изюмом. Бригадир поторавливали, ворчали на женщин за то, что те перегрузили арбы.

Конюхи украшали лошадей бусами, чайханщики упаковывали связки чайников и пиал, повара грузили на арбы рис, огромные котлы.

На главной дороге со сказочной быстротой росли колонны. В каждом кишлаке к ним присоединялись все новые и новые отряды строителей. Радостное шествие растянулось на несколько километров. Шестьдесят пять тысяч колхозников с севера двигались на стройку — это были самаркандцы. Еще шестьдесят пять тысяч человек шли на стройку — то были бухарцы.

...Вот и Катта-Курган. Он принимает строителей. Прошло три

дня, и в котловине вырос город на сто тридцать тысяч человек. Людской поток не прекращается. Прорабы, техники, политработники, комиссары штабов бегают по улицам, размещают строителей, отводят участки для возведения временных городков.

В центральном штабе главный инженер товарищ Бабун дает четкие оперативные задания инженерам участков.

Строительство начнется первого марта, а колхозники уже приходят и требуют, чтобы немедленно дали работу.

Главный штаб установил тесную связь с участками стройки. Вступила в действие только что оборудованная телефонная станция.

Как грибы росли палатки медицинских пунктов, навесы для чайхан. В землю вкапывались котлы, строились столовые, магазины.

Над обрывом старого Дам-арыка, в ложбинах, окружающих трассу водохранилища, расположились живописные становища строителей. Всего несколько дней назад здесь были безлюдные поля, а сегодня кажется, что люди живут в этих становищах уже многие месяцы. Десятки тысяч колхозников быстро освоились с новой обстановкой и перенесли сюда уклад жизни колхозного кишлака.

III. Штурм великого кургана

Все было рассчитано точно: в положенное время должны были начаться подготовительные работы на участках, постройка общежитий, столовых, красных чайхан, торговых предприятий. Великую народную стройку предполагали начать первого марта 1940 года.

Но уже — в который раз! — народный подъем опрокинул все расчеты. Трудно учитывать в графиках героизм народа, ибо он ломает все представления о сроках. Так было в Фергане на Большом Сталинском канале, так повторилось на грандиозной стройке в Кэтта-Кургане.

Колхозники Каганского района приехали на стройку 18 февраля, и уже 20 февраля их делегаты явились в штаб и потребовали работы. Городок был построен ими в два дня. Люди рвались к делу. Они твердо решили — первыми начать основные работы на сооружении водохранилища.

Вслед за каганцами пришли в штаб самаркандцы, нарпайцы. И когда лес древков, на которых развевались красные знамена, плотно окружил здание конторы, руководители стройки решили дать телеграмму-молнию в Ташкент: „Просим разрешить земляные работы начать не 1 марта, а 25 февраля“.

* * *

Преследуемый неугомонным ветром, ключьями уносился на запад туман. Над величественной аркой вспыхнул алый кумач флага. Рванул злой ветер, попытался согнуть, сломать древко. Тщетно! Полотнище затрепетало и на нем ярко заиграли лучи восходящего солнца! И, как по команде, высоко и гордо поднялись стаги над всеми городками стройки.

Разом сменился пейзаж. Зашумели моторы машин, закрипели колеса тысяч телег, засверкали острия кетменей. Великая стройка началась! Это было 25 февраля 1940 года.

И в тот же день комсомольцы, молодые колхозники выступили зачинателями соревнования. В соревновании рождались имена значительных людей. О колхозниках, которых еще вчера знали только в одном кишлаке, сегодня с уважением говорили все строители.

Первый рекорд установил Ирисмет Маханов из Зааминского района. 26 февраля за неполный рабочий день он выполнил восемь норм. Приглядываясь к методам Маханова, его земляк Ишан Шарипов решил догнать передового стахановца. Не прошло и двух дней, как Шарипов довел дневную выработку до восьмисот процентов. Первые же рекорды строителей опрокинули все нормы. Колхоз имени Крупской, откуда родом были эти рекордсмены, за полтора дня выполнил половину месячного задания.

Люди совершали чудеса. Весть о славных рекордах как молния облетела стройку. Со всех участков шли сюда ходоки, чтобы посмотреть почву, где роют землю зааминцы, точно узнать, как выглядит знаменитый кетменщик Ирисмет Маханов.

Маханову и его бригаде дали срочное задание — убрать курган, перенести „гору“ с того места, где должно быть воздвигнуто бетонное сооружение.

Штурмовали курган со всех сторон. В забой встали двадцать прославленных ударников. Махановцы работали спокойно, без суетолки.

Капельки пота выступили на лбу Ирисмета. Молниеносны и точны взмахи его кетменя. Захватывая землю и бросая ее, он изгибается, как в танце, притоптывает ногой, подпрыгивает, меняя место.

Своими глазами видели колхозники, как постепенно „таял“ курган. Бригада Маханова за несколько дней перенесла гору в две тысячи кубометров. Грунт приходилось относить на сто — сто двадцать метров. Каждый махановец за этот короткий срок прошел более трехсот километров, половину пути прошли с грузом.

Уже в самом начале стройки выявились люди, готовые самоотверженно бороться за досрочное завершение земляных работ. В числе их были мужчины и женщины, старики и молодежь.

Первого марта, в день, когда по первоначальному плану строительство только еще должно было начаться, в своде центрального штаба появилось первое семизначное число; люди стали вынимать второй миллион кубометров грунта.

Темпы нарастали. И дело было не только в том, что на трассе становилось больше людей. Нет. Прежде всего, резко росла интенсивность труда. Чем больше свывались стахановцы-колхозники с трассой, тем успешнее пробивали себе дорогу передовые методы труда. Вслед за Махановым одиннадцать норм дал митанец Алтыбай Утаганов. Но и эта цифра вскоре была бита пятидесятивосьмилетним ургутцем Исмаилом Милибаевым. Старик за один день выполнил пятнадцать норм! Так родился новый рекорд. Не прошло и нескольких дней, как на стройке разнеслась слава о новом рекорде.

смене Ядгаре Яминове из Рометанского района, Бухарской области.

Заветная мечта колхозников Зеравшанской долины руками десятков тысяч людей, строивших водохранилище, претворялась в жизнь. Все глубже опускалось дно подводящего канала, короче становился путь его.

IV. Лагерь строителей

С высокого кургана хорошо видно, как внизу, у подножья холмов, живописно раскинулся город-лагерь. Среди тысяч землянок, серых и черных юрт белеют огромные палатки. Сто тридцать тысяч человек обитает в этом городе.

Двадцать пять миллионов земляных, пятьдесят четыре тысячи кубометров бетонных и десятки тысяч кубометров каменных работ надо произвести руками строителей для того, чтобы построить это величайшее в СССР водохранилище.

Чтобы шестьсот шестьдесят восемь миллионов кубометров воды с „зеркалом“ в шестьдесят четыре квадратных километра держалось в котловане, как в чаше, надо построить плотину. Она протянется на три с половиной километра в длину и поднимется на двадцать восемь метров в высоту. Сосрубить такую плотину — это значит усыпать и укатать девять миллионов кубометров земли. Шесть тысяч четырехста гектаров площади займет искусственное озеро.

Вода из Зеравшана поступит в озеро по подводящему каналу протяжением в двадцать восемь километров и с пропускной способностью в сорок пять кубометров в секунду.

Водоохранилище станут заполнять в сентябре — апреле. Летом вода будет возвращаться в Зеравшан по отводящему каналу протяжением в пятнадцать километров и с пропускной способностью сто двадцать пять кубометров в секунду. Таким образом, если озеро будет наполняться водой в течение восьми месяцев, то на сброс воды обратно в реку потребуются лишь три-четыре месяца.

Вода, сбереженная осенью и зимой, с помощью водовыпускной башни под большим напором пронесется через бетонные трубы, вырвется из моря на простор, бурно устремится на поля и щедро напоит хлопок, сады и виноградники долины.

* * *

...Мощные гусеничные тракторы, подобно танкам „КВ“, громяхая прицепами тяжелых катков, ползут вперед, мнут огромные глыбы грунта, вдавливая в тело плотины тысячи тонн земли. Как только по насыпи прошли тракторы, снизу медленно поднимаются длинные, как жерла пушек, краны экскаваторов. Они выбрасывают из своих ковшей на примятый след катков новые глыбы грунта. Сто двадцать тракторов не успели сделать и одного круга, как на плотину врывается паровоз с длинной вереницей груженых землей платформ. Вслед за поездом въезжают на плотину грузовики. В

небо высоким столбом поднимается пыль. Пятнадцать тысяч колхозников разравнивают грунт плотины.

Самым сложным и трудоемким делом является сооружение плотины. Не из всякого грунта можно возводить плотины. Годную для такой цели породу земли ученые нашли на холмах в двух километрах от строительной площадки.

И день и ночь поезда и автомашины доставляют на площадку грунт. Чтобы порода была еще плотнее, мощные наносы увлажняют ее водой, и тогда по мокрой земле ползут тракторы с катками. Чтобы плотина удержала в огромной чаше шестьсот шестьдесят восемь миллионов кубометров воды, надо строить ее прочно и со знанием дела. Вот почему на стройке создана инженерно-строительная лаборатория. Ее сотрудники ведут свою кропотливую работу рядом с мастерами кетменя и лопаты всюду, где колхозники копают землю. Десятки новых проблем возникают на стройке, и лаборатория обязана дать ответ на все технические вопросы.

Еще задолго до начала строительства исследовательские партии нашли в верхних слоях почвы Катта-Курганской котловины много солей, главным образом гипса. Следовательно, если строить плотину, надо удалить не меньше, чем полутораметровый слой, а возможно и двухметровый.

Но в феврале 1940 года, когда сто тысяч колхозников рыли канал, когда инженеры уже проектировали плотину, неожиданно обнаружилось, что засоленный слой в некоторых местах достигает не двух, а четырех метров.

Геологи устремились на разведки, дополнительно закладывались шурфы, устраивались экспертизы. Лаборатория стройки требовала детального изучения грунта. Из Ташкента вызвали профессоров.

Пора было рыть котлованы, а решение о том, какой слой снимать, все еще не было принято.

И когда вызванный из центра консилиум научных работников установил, что надо снимать верхний четырехметровый слой, лаборанты вздохнули свободно. Их прогноз подтвердился!

При возведении плотины очень важно знать, как будет идти осадка основания: размеры, скорость затухания и т. д.

Было известно, что на глубине примерно в тридцать метров вслед за лессом идет слой плотной глины. Строители предполагали, что глина осадки не даст. Но одно дело предположение, а другое — уверенность, основанная на знании, на проверке. Установить плотность грунта взялась лаборатория. Лаборанты пробурили шестидесятипятиметровую скважину и взяли грунт. Исследования показали, что глины здесь мало сжимаемы, и практического значения для осадки плотины это не имеет. Лаборатория еще раз подтвердила, что плотина лежит на прочном основании.

От зорких глаз лаборантов не ускользает ни один слой земли, уложенной на плотине. Они тщательно определяют плотность укладки, влажность грунта, испытывают его несжимаемость.

В тело плотины лаборанты заложили свыше тысячи погонных метров шурфов, более тридцати бетонных плит — реперов, по которым

можно точно определять осадку основания плотины. Двадцать пьезометров позволяют вести наблюдение за грунтовыми водами.

V. Катта-Курган обогнал Америку

... Огромный объем работ не пугал строителей плотины. В упорстве и мужестве соревновались шоферы и железнодорожники, трактористы и экскаваторщики, землекопы и бетонщики.

Первыми выступили в стахановский поход шоферы.

Среди них сразу же завоевала славу комсомольская колонна. Шофер-комсомолец Вася Куликов каждый день совершал пятьдесят рейсов. За трудовые подвиги Куликова произвели в начальники автоколонны, а через месяц гараж № 3 прославил всю стройку. Машины этого гаража прошли на трассе строительства семьсот тысяч километров. Изю дня в день, из ночи в ночь растет гора грунта на плотине, где работает коллектив шоферов. Автомашинны непрерывной вереницей мчатся из карьера на плотину. На перекрестке карьерных дорог милиционер регулирует движение; изредка раздается тревожный сигнал: какой-то пылкий водитель, увлекшись, пытается обогнать впереди идущий грузовик. Но под строгим взором милиционера автомашинна сейчас же замедляет ход и виновато уступает дорогу отставшему ЗИС'у.

На гигантских ступенях плотины круглые сутки кипит созидательный труд.

Шоферы-победители, взобравшись со своими машинами на самую верхнюю ступень, снисходительно посматривают оттуда на копошащихся внизу железнодорожников. Но поезда все выше и выше поднимаются вверх, и близок день, когда паровозы займут, наконец, одинаковые с автомашинами высоты.

Поезда едва успевают замедлить движение, как на платформах уже начинают сновать колхозники — они бросают грунт прямо на ходу. Рядом с составом бежит всегда волнующийся прораб. Задыхаясь, он кричит, что выгрузка платформы на ходу строго запрещена ..

Железнодорожники и стахановцы карьеров дали слово ежесуточно подавать на плотину тринадцать тысяч кубометров грунта. Это значит, что ежедневно надо грузить сорок составов — сто двадцать вагонов.

Бешкентцы и гузарцы, работавшие на карьере, узнав о том, что их опередила автомашинна, потребовали от начальника дороги и диспетчеров пересмотра графика оборотов вагонов. И обещали не подвести железнодорожников с погрузкой и выгрузкой.

В забой в карьерах встали три героя Гузара — братья Дустовы и Гадаев. Они подняли знамя соревнования. Гузарцы решили перенести свои палатки в карьеры и не уходить оттуда, пока не выравняют фронт работ. Целыми днями около забоев ревели карнаи. Братья Дустовы подрывали огромные глыбы грунта и обрушивали их на платформы. Пока состав загружался, машинист Умурзаков доставал из арывка кувшин с „яхной“ — охлажденным зеленым чаем,

утоляя жажду и про себя нещадно ругал гузарцев за то, что они, как львы набрасываясь на платформы, не дают ему насладиться чаем и заставляют гнать состав на плотину.

За пятнадцать напряженных дней гузарцы доказали, что они могут соревноваться с шоферами. Гудки паровозов все чаще и пронзительней напоминали водителям автомашины, что железнодорожники догоняют коллектив автоучастка.

Газетные сводки пестрили новыми рекордами, новыми цифрами побед строителей. На первой странице газеты „Катта-Курганское водохранилище“ в рамке, жирным шрифтом был набран интригующий заголовок: „Катта-Курган (СССР) — Сант-Яго (Америка)“. „На стройке установлен мировой рекорд, — сообщалось в заметке. — Если производительность на укладке тела плотины в Сант-Яго (Америка) в отдельные дни достигала 12 с лишним тысяч кубометров, а средняя выработка в день составляла 7.000 кубометров, то сейчас по суточной производительности Катта-Курган обогнал Америку“.

Темпы стройки нарастали. Труд тысяч людей, сотни разнообразных механизмов — все было подчинено одной вдохновенной идее: скорейшему пуску воды в водохранилище.

VI. На береговых пикетах

Луна плыла над высокими обрывами подводящего канала, скользила по зыбучим пескам, в журчавшей воде.

Канал гордо высился в стены. Его бермы грандиозны. Одни из них напоминают египетские пирамиды. Другие выглядят как неприступные стены из бетона. Вода придала каналу еще более величественный вид. Он как бы расширился, стал внушительнее.

В ночной темноте было слышно, как бурный Зеравшан ударялся о плотину, а потом, обессиленный, покорно поворачивал свои воды в канал. Вода осторожно, как бы боясь еще неизведанного русла, ползла по его дну, жадно захватывая сухую землю. На дамбах горели костры. Около них сидели люди с кетменями — патрули. Шла замочка канала, а это дело ответственное, и штаб стройки установил круглосуточный надзор за поведением воды. В качестве патрулей выделены сильные, смелые строители. Они зорко наблюдают за водой, ибо хорошо знают ее силу. Малейшее отвлечение в дамбе может причинить большой урон. Дозорные внимательно вглядываются в откосы, следят за горизонтом воды. Через каждые триста метров расположен пост. Он снабжен веревками, тачками, кетменями, мешками с соломой.

На пикете № 249 ночью дежурили комсомольцы Батыр Иргашев, Палван Халматов, Рузыбай Алимхамедов. С ними был опытный мираб, старик Атамурад Насыров.

Ночной холодный ветер веял из долины. По свежесвыравненным откосам канала прыгали отблески пламени, они озаряли камыш и зеленые кусты тала.

Вода до пикета 249 еще не дошла, но патрули ждали ее с часу на час, с минуты на минуту.

— Ата-а-мурад! О-ай! — закричали где-то в темноте. — Су кель-я-п-ты, су кель-яп-ты!

Атамуратов вскочил с места. Блеснул кетмень, вскинутый на плечо, и старик исчез. Вслед за ним, хватая фонари, бросились остальные дежурные.

В ночной тишине было слышно, как, шурша, ползла вода по дну высохшего канала. Она подступала к пикету 249. Патрули бежали вслед за водой. По ровной магистрали канала, впереди воды, на освещенном велосипеде катил разведчик и кричал дозорным следующего пикета:

— Вода идет!

— Вода пришла!

Люди, сидевшие у костров, вскидывали на плечи кетмени, бежали на подводящий канал, рубили кромку перемычек и ждали, когда под лунным светом вода, сначала медленно пройдет по дну, а потом бурно хлынет вдогонку умчавшимся на велосипедах дозорным.

На всех участках колхозники, инженеры, техники самоотверженно несли стахановскую вахту. Неожиданно с пикета 201 поток воды высотой в сорок сантиметров устремился на 215 и 249 пикеты. Перемычки были оторваны. Над каналом нависла катастрофа. Вода просачивалась сквозь дамбу. С каждой секундой увеличивался водоворот. Стоило прозевать, как тысячи кубометров грунта с невероятной быстротой были бы отнесены вниз. Комсомолец Батыр Иргашев во-время заметил образовавшуюся воронку. По его команде десять комсомольцев бросились в ледяную воду и, обняв друг друга, грудью заслонили поток.

Другие патрули с поразительной быстротой сбрасывали мешки с землей и хворост в воду, заделывая отверстие канала. Авария была предотвращена...

Ночь стояла беспокойная. Канал не мог сразу принять капризную воду. Она находила каждую щель, малейшую трещину, разворачивала свежий грунт.

В темноте на дамбах канала шла жаркая схватка. Звенели кетмени, лопаты, вокруг глухо шуршал пересыпаемый грунт. До самого рассвета люди работали, не покладая рук.

На всех участках прорабства несли дежурства и вели журнал замочки канала. Ежедневно в журнал записывались результаты замочки:

25 апреля. Осадка грунта в искусственных насыпях на пикетах №№ 254, 256, 257, 258, 260 и 263. Горизонт воды прежний. Обнаружен провал в дне канала на пикете № 254. Быстро заделан.

26 апреля. В ночной смене предотвращен прорыв дамбы на пикетах №№ 249, 250. Провал заделан в течение 30 минут. Большую находчивость проявили комсомольцы во главе с Атамурад-ака Насыровым. Повреждений нет.

27 апреля. В 10 часов утра с пикетов 249 и 250 вода пущена на пикеты №№ 254—269. Горизонт — 2,5 метра. Никаких происшествий не было.

VII „Он воды Зеравшана нам отдал!“

Война помешала закончить строительство Катта-Курганского водохранилища. Но как только отгремели победные салюты, великий поход за воду, возглавляемый большевиками, возобновился. Снова на народной стройке зазвенели кетмени, зашумели моторы машин, быстро растут дамбы, все выше и выше поднимается плотина. Народ строит свое водохранилище с большим энтузиазмом. Тысячи людей охвачены единым горячим стремлением — покорить безводные степи, заставить их служить великой Родине.

* * *

Зло ворча, мчатся по каналу холодные воды Зеравшана. У кольцевого сооружения они разбиваются о вал и плавно расходятся по дну водохранилища. Серебристое от солнца зеркало воды медленно, но с каждым днем, ширится, жадно захватывая сухую землю.

Море наполняется. Вода уже затопила насыпь железнодорожной магистрали, старый Дам-арык. Погружаются развалины кишлака „Амбар слез“. Припертые водой, рушатся дувалы. Над развалинами опустевшего кишлака, на улицах которого властвует вода, летают стаи ворон. Вода залила всю котловину и уже слилась с горизонтом. Берега не видно. В пустынной степи образовалось „Узбекское море“. Скоро оно будет нанесено на все карты СССР.

* * *

Со стороны плотины, рассекая воздух, со свистом пронеслась стая чирков. Птицы уже сложили было крылья, готовясь отдохнуть на спокойной глади озера. Но, увидев рыбацьи лодки, они вдруг снова взмыли вверх, сделали круг над озером и улетели прочь.

На берегу рожденного народом моря сидели колхозники. Атамурад-ака, любуясь зеркалом воды, заговорил первым:

— Вот где чудеса! Какое море родился в пустыне — не видно края! Удивительно, что может сделать человек. Раньше мы ведь тоже скопом ходили рыть большие и мелкие арыки, но как только провожали аксакала, сейчас же дожились в камыш. Да и кому нужна была такая работа... Страдание и горе остались теперь позади...

...Все так же бурно мчится Зеравшан. И воды из него хватает всем. Колхозники слагают песни о новой жизни около старой реки.

Раньше я об асатывл чужую землю,
А зимой кусал себе губы.
Колхозы и землю нам Сталин дал,
Он воды Зеравшана нам дал.
Не сгорят никогда наши поля,
Не облетят листья цветущих сазов,
Не осылятся лепестки хлопка.
Все будет расти.
Все будет цвести.

ОТЕЦ ГОРОДА

О черк

Знакомая скульптура человека в простой шинели солдата. Резец валятеля словно одухотворил гранит; в неуловимых линиях передано движение и призыв. Скульптурой, поставленной на ковре живых цветов, открывается главный въезд на Чирчикский электрохимический комбинат имени Сталина.

Сквозь ажурные ворота видна тенистая аллея, уходящая вглубь двора. На арке поблескивают бронзовые литеры вывески этого гигантского, еще молодого предприятия, но уже награжденного орденом Трудового Красного Знамени в годы Великой Отечественной войны.

Деревья с курчавыми кронами, пышные газоны цветов. Ни огромных корпусов, ни площадок, как это зачастую бывает на предприятиях: всё закрыто густыми насаждениями, все утопает в буйной зелени, как в саду. Только шум, похожий на свист и шипение, напоминает о бьющемся пульсе мощных агрегатов, работающих вблизи. Кажется, что под ногами слегка содрогается почва, а в воздухе, кроме шипения и свиста, еще слышно гудение невидимых трансформаторов.

Чистота двора и особенно цехов вызывает восхищение. Кафельные полы, как в зеркале, отражают до блеска начищенные машины, перешлеты рам и зелень, заглядывающую в раскрытые окна. Чистота эта объясняется характером самого производства. Чирчикский электрохимический комбинат почти единственное по своим размерам и мощности предприятие в Союзе с технологией производства, при которой сырьем, питающим сложнейшие агрегаты, являются воздух и вода.

Мощные компрессоры, на маховиках которых легко может уместиться трехтонный грузовик, управляемые человеком, сидящим за автоматическим пультом, нагнетают воздух в особые цельнотянутые стальные баллоны. Сжатый воздух затем разлагается на составные части и при высоких температурах и давлениях переходит в новые

качества, дающие в конечном результате минеральные удобрения хлопковым полям.

Поэтому количество потребляемого воздуха и воды здесь исчисляется баснословными цифрами, как и потребность в электроэнергии, подаваемой комбинату гидростанциями Чирчикского каскада, составляющими одну треть мощности Днепрогэса.

Электрохимический комбинат узбекские хлопкоробы любовно называют фабрикой высоких урожаев. К концу пятилетия предприятие в два раза увеличивает выпуск аммиачной селитры, идущей для удобрения хлопковых плантаций среднеазиатских республик.

Уже сейчас здесь монтируются усилительные подстанции, устанавливаются ребристые трансформаторы. И эта часть заводского двора густо переплетена проводами, подвешенными на изоляторах высокого напряжения.

Энергетическая пятилетка комбината выполнена на 80 процентов. Чирчикские энергетики готовы принять ток вступающей в строй действующих гидроэлектростанций Фархадской ГЭС, сооруженной за несколько сот километров от Чирчика, на берегах Сыр-Дарьи.

Комбинат растет и крепнет. В разных уголках его территории строятся то один, то другой цех, без которых немислимо наращивание производственной мощности этого химического гиганта Узбекистана, его дальнейшее развитие.

Расширяется комбинат и вместе с собой поднимает город, появившийся на свет вместе с первыми вагонами селитры, отправленными отсюда.

Стоит подняться на склоны Чаткальских гор, как глазу предстанет красочная панорама большого индустриального города. Сизоватые, темногустые, рыжие, почти золотистые дымы курчавятся над высокими заводскими трубами. По окраске дыма и множеству труб, похожих издали на колоннаду, подпирающую над городом лазурное небо, можно судить, как он велик и молд — этот город — детище сталинских пятилеток. За чертой города открываются необозримые дали; серые тона — верные признаки казахстанских степей, выжженных лучами южного солнца.

И этот полупустынный вид, необжитые вокруг пространства сухой, потрескавшейся земли, поросшей редкими кустами верблюжьей колючки, только сильнее оттеняют родившийся здесь город, утопающий в густой зелени скверов и садов, город, где бьет ключом полнокровная жизнь.

Ничего здесь не осталось от степного кизлака Киргиз-Кулак, на месте которого воздвигнут город энергетики, химии и машиностроения. Старое русло реки Чирчик, почти пересыхавшей в середине лета, поднято теперь на десятки метров выше прежнего и заключено в бетонные берега, меж которыми неумолчно журчит вода и стремительно мчится туда, куда ей указал человек.

Чирчик — мощный источник гидроэлектроэнергии города. Одиннадцать электростанций, образующих сейчас гидроэнергетическую систему реки, и дающих 60 процентов электроэнергии, вырабаты-

ваемой всеми электростанциями Узбекистана, питают город и его промышленность самой дешевой электроэнергией.

Белые здания Таваксайской, Комсомольской и Аккавакской № 1 гидростанций со своими передвижными кранами, выделяющимися тонким ажурным рисунком в синеве неба, являются лучшим украшением в ансамбле города, разместившегося ступенчатым амфитеатром по склону Чаткальских гор.

ЭлектрOLIнии, поддерживаемые широкими плечами траверс мощных мачт, пересекают город в нескольких направлениях. Гроздь высоковольтных коричневых изоляторов, десятки трансформаторных будок, заводские трубы, огромные корпуса цехов с просторными окнами — все это детали нового пейзажа, без которых кисть художника не передаст картины индустриального Чирчика.

Город затаен лесеми. Город строится. Бетонешалки, камнедробилки, подъемные передвижные краны с бадами, транспортные ленты, задравшие носы кверху, автомашины, груженные стройматериалами, огромные призывные плакаты, лозунги и обязательства, развешанные на лесах — эти социалистические паспорта строителей, — все здесь утверждает кипучую жизнь города, которому пошел пятнадцатый год.

Очень много в нашей стране таких, как Чирчик, юных городов, которые, несмотря на молодость, пленяют своей зрелостью и расцветом, своим могущественным здоровьем и силой — ибо это новые социалистические города.

У каждого из них есть отец. В глубокую старину у российских городов тоже были свои „отцы города“ — „благодетельные“ губернаторы, купцы, священники, клавшие первый камень в основание города и этим завершавшие свою миссию градостроителей.

У Чирчика отец — электрохимический комбинат имени Сталина. История города — история комбината.

Пятнадцать лет назад к маленькому пыльному кишлаку двинулись первые отряды строителей. Они ехали сюда на скрипучих арбах с незатейливым скарбом по пыльным проселочным тропам. Прежде, чем пройти к стройке автомашинам, для них делали шоссейную дорогу. А в это время строительные материалы подвозились на площадку верблюжьими караванами, пересекавшими безлюдные степи узкими тропами, что теперь занесены песками и забыты.

Строился комбинат — росли вокруг него приземистые, с отлогопокатыми голевыми крышами бараки, десятки бараков. Только через три года поселок назвали городом. Его бюджет не составлял и одного миллиона рублей.

Так был основан Чирчик.

Прошла пятилетка. В 1940 году состоялся пуск электрохимического комбината имени Сталина. И как бы сразу возмужал город. Появились двух, трех и четырехэтажные дома, школы, техникумы, кинотеатры, библиотеки, стадион. Закурчавились яркой зеленью аллеи молодого парка. Город вытянулся в две улицы — имени Ленина и Сталина, город раздался в ширину десятками улочек и

переулков с площадями и скверами. Теперь у Чирчика — почти пятнадцатимиллионный городской бюджет.

По соседству с электрохимическим комбинатом — отцом города поднялись заводы химического и сельскохозяйственного машиностроения, организованные на базе его цехов, завод „Электроштит“, известковый и кирпичный, обувная и швейная фабрики. На дальней городской окраине, в местечке Искандер строится стекольный завод — первенец стекольной промышленности Узбекистана. В 1948 году завод даст первое оконное стекло. Завод возродит славу искусных узбекских мастеров стекольного дела, которых в древние времена выписывали китайцы к себе на родину и учились у них „тайнам диковинного ремесла“. В городе появится новый квартал стекольщиков, как сейчас есть кварталы машиностроителей, химиков, энергетиков, обувщиков, швейников и строителей.

Неутомимые строители не покидают город. Они влюблены в него, как в свою профессию. Их руками город начал создаваться. От них, мечтателей вечной красоты, претворяющих ее в явь, город обрел невзвяснимо-прекрасное лицо.

И широкая панорама большого индустриального центра, что открывается глазам, не заслонит величия первого камня, положенного в основание электрохимического комбината имени Сталина.

Со склонов Чаткальских гор отчетливо виден рождающийся проспект со скульптурой человека в простой шинели солдата. С его именем на устах строители закладывали фундамент таких же чудесных городов в Заполярье и степях Казахстана, в Приуралье и на берегу Амура.

Чирчик — новый социалистический город — (живое воплощение сталинской политики индустриализации.

Б А П И

О черк

Двадцатипятитонная, похожая на букву „Г“ железная конструкция, подвешенная деррик-краном, медленно оторвалась от земли и повисла в воздухе. Она была на высоте сорока метров и, тихо опускаясь полукругом, продолжала угрожающе висеть в небе.

Занятый внизу электросваркой турбины ГЭС Абдуманнанов, сняв с головы железный козырек с черными очками, взглянул вверх. Туда же смотрели и монтажник Адыль Каххаров и инженер Шахотка. Глаза всех были прикованы к огромному куску металла, все еще медленно кружившемуся в небе. Туда были устремлены и взгляды тех, что были наверху, над воротами шлюза, и тех, что, обливаясь потом, работали на агрегатах и под турбинами.

Мы стояли высоко, на крыше шлюза. Вокруг, словно муравьи, беспрерывно двигались люди. Отовсюду неся шум, грохот, стук молотков, шипенье электросварочных аппаратов, гудки машин, свистки паровозов...

Здесь, между тем участком, где разместились агрегаты ГЭС, и верхними шлюзами, протягивая в небо свои железные стрелы, стоят деррик-краны. Длина их — сорок три метра. Они поднимают груз в шестьдесят тонн весом и с высоты тридцати-сорока метров плавно опускают его на новое место.

Начальник строительства ГЭС товарищ Азиз Юсупов, оторвав взгляд от повисшего в небе металла, обернулся к нам:

— Это требует большой точности. Металлическая конструкция должна быть опущена вон на то место стены ГЭС. Ошибка даже в полсантиметра недопустима. А кроме деррика такую машину ничто не смогло бы сдвинуть с места. Это — самое трудное дело.

Он снова посмотрел вверх. Деррик все ниже опускал металлическую конструкцию к стенам здания, где размещались агрегаты. На стене, выложенной из бетона и металла, издали похожие на галок, стояли в ожидании работы электросварщики. Металлическая конструкция, приблизившись к стене, застыла на месте. Затем вздрогнула и чуть отплыла вправо.

Азиз-ака снова взглянул на нас.

— Если мастер, то угодит сразу. А не то провозится не меньше часа.

Металл, как бы приседая, тихо опустился на стену. И тотчас же оттуда донеслись громкие одобрительные возгласы электросварщиков:

— Здорово! Молодец, товарищ Саенко!..

Электросварщики, разбрызгивая голубые искры, тут же принялись сваривать железную конструкцию со стеной ГЭС. Стоявшие на шлюзах инженеры устремились к кабинке управления деррик-крана. В одно мгновение кабинка оказалась переполненной людьми. Азиз-ака, первым вошедший в кабинку, взволнованно протанул руку двенадцатитрехлетней Раисе Трофимовне Саенко.

— Рахмат, девушка-палван. Мы тебе очень благодарны.

Главный инженер Морозов, смахнув чистым белым платком пот со лба, взял Саенко за обе руки.

— Да ты настоящим мастером стала, Раечка. Помнишь, в прошлом году ты не могла снять груз с платформы...

Девушка стояла, недоуменно поглядывая то на Азиз-ака, то на Морозова. Вдруг она расхохоталась.

— Азиз Юсупович, — проговорила она, неожиданно обняв стоявшую рядом с ней девушку лет девятнадцати, — вы ошибаетесь. Этот груз перебросила моя ученица Бапи. Вот она. Уже третий раз Бапи устанавливает металлоконструкции на стены ГЭС...

Все с ласковой благодарностью посмотрели на тоненькую, хрупкую девушку с мелко заплетенными косичками, в ярком сиреновом платье и красной бархатной безрукавке, в чустской тубетейке на голове. Машинист деррик-крана Раиса Трофимовна Саенко не могла сдержаться и вдруг при всех поцеловала ее в щеку.

Бапи смутилась.

* * *

„Бапи“, — так ее звали подруги в колхозе. Вместе со своими подругами она приехала на Фархадское строительство. И здесь все — от мала до велика — знали ее как „Бапи“. „Что это такое? Называйте меня по имени!“ — обижалась она вначале, но вскоре и сама привыкла к этому прозвищу.

С тех пор, как Бапи прибыла на Фархадское строительство, прошло три года. Первое время она вместе со своими односельчанами рыла котлованы, где должна была вырасти ГЭС. Вырыть сорокаметровой глубины котлован ГЭС было, конечно, делом не маленьким. На строительстве, если кто говорит: „Я работаю на котловане“, — все понимают, в каком трудном деле он участвует. Бапи была из колхоза имени Ленина, Хакулабадского района Наманганской области. Прибыв на строительство, она сначала около года копала землю, таскала ее на носилках, готовила колхозникам пищу. Но даже в те дни работы на кухне Бапи по ночам, когда люди забывались сладким сном, работала на котловане. Старики много раз

посылали на нее свои благословения и добрые пожелания. И вот в 1945 году она познакомилась с Раей Саенко. С течением времени дружба между ними все крепла, и под конец они стали относиться друг к другу, как родные сестры.

И однажды Бапи заявила: „Ну, я теперь должна уехать в свой Наманган“. Рая задумалась. Они обе долго молчали.

— Если бы ты согласилась, я и тебя в свой колхоз увезла бы,— проговорила, наконец, Бапи.

— Нет, Бапи. Я сейчас помощник машиниста. Скоро я стану машинистом деррика. Лучше ты сама оставайся, подружка. Я поговорю с главным инженером и пристрою тебя сигнальщиком.

— Да ведь я же ничего не понимаю...

— Я была такой же, как ты. Я сама тебя учить буду.

Бапи, перебирая пальцами тоненькие косички, долго молчала. Вдруг она улыбнулась и, взглянув на подружку, сказала:

— Ладно, согласна...

— Пиши заявление,— сказала Рая.— „Начальнику строительства ГЭС товарищу Азизу Юсупову, от Бапи...“ Нет не так... Как твоя фамилия?

— Шермирзаева.

— Так вот, от Шермирзаевой заявление...

— Я же не могу по-русски.

— Как? Ведь ты говоришь без запинки.

— Напиши лучше ты сама, Рая.

— Хорошо, давай ручку. И бумагу...

* * *

С тех пор прошел год. За этот год на месте котлована появились величественные здания, шлюзы, огромные трубы и невиданные машины. Рая Саенко и Бапи начали работать на деррик-краны вместе. За этот год они перебросили около миллиона тонн груза. И вот уже неделя, как Бапи, без помощи Раи, поднимает в воздух тяжелые металлические конструкции и устанавливает их на стены. Дело это очень тонкое. Оно требует большого искусства и с ним могут справиться только лучшие мастера-машинисты.

Сейчас, в кабине деррика, Азиз-ака, на секунду было задумавшись, взглянул на Бапи:

— Откуда вы?

— Наманганская.

— Как ваша фамилия?

— Шермирзаева.

— А звать?..

— Бапи... нет-нет, Марифат... — Она опустила глаза. — Это меня подруги так зовут.

— Бапи... Бапи... В самом деле, я слышал о вас. Рахмат, девушка-палван. Где было видано, чтобы девушка двадцатипятитонный груз поднимала?..

В разговор вмешалась Саенко:

— Она и шестидесятитонные металлические конструкции уже поднимает. Через несколько минут увидите. У нас тут есть шестидесятитонный груз.

Баби улыбнулась. Люди стали выходить из кабинки деррик-крана. Девушка запустила машину, чтобы поднять новый груз. Она вспомнила слова начальника строительства и опять улыбнулась. Теперь ее все будут называть по фамилии — товарищ Шермирзаева. Первой ее назвала так лучшая подруга Райя Саенко.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

О е р к

По дороге, ведущей из Беговата на ГЭС, с вешевым мешком за плечами торопливо шагал солдат. Итти' было трудно: третий день беспрерывно шел мелкий дождь, и дорога превратилась в раскисшее месиво. Каждый раз, когда солдат переставлял ногу, он вместе с ботинком поднимал целый батман липкой глины. Изредка он смахивал рукой с мокрого лба капли дождя и пота.

Через некоторое время солдат увидел вдаль приближающегося человека. Вспомнив, что у него нет ни спичек, ни зажигалки, он тотчас же вынул из кармана помятый клочек газеты, достал махорки и завернул длинную цыгарку. Когда человек, шедший ему навстречу, поравнялся с ним, солдат, чуть задержавшись, спросил:

— Товарищ, до ГЭС далеко еще?

— Еще километра три будет.

Со стороны далеких холмов вдруг подул ветер, и дождь, внезапно усилившись, стал хлестать путников. Они пробежали несколько шагов и укрылись под широкой непроницаемой кроной придорожного карагача.

— Нет ли у вас огонька? — снова обратился солдат к путнику, снимая с плеч свой мешок.

— Есть. Пожалуйста. — Человек зажег зажигалку и дал прикурить солдату, затем вынул портсигар и закурил сам. — Вы из армии? — спросил он немного погодя.

— Да, — ответил солдат, — семь лет прослужил.

— Охо! Хорошо. А теперь — к отцу матери?

— Да. Они в эти места, говорят, перебрались.

— Откуда?

— Из Бухары.

— А где они работают?

— Да говорят, где-то у сброса канала...

— А-а, так. Я тоже там работаю.

— Вон что!..

— Как ваша фамилия?

— Салим Хашимов.

— А я — Шатский. Спросите Сергея Владимировича, все знают...

— Тогда разрешите вашу руку. В первый раз повидались — познакомились, во второй раз — узнаем друг друга поближе...

* * *

Салим-джан решил остаться на Фархадском строительстве. Таков же был и совет отца. В первые же дни Салим обошел все строительство. Прежде всего он побывал на ГЭС, осмотрел головную плотину, Малую ГЭС, рабочий городок, короче говоря — ничего не упустил. Обходя строительство, он вспомнил письмо одного своего приятеля: „Мы тоже, друг, здесь не петушиными боами заняты“, — писал тот. И в самом деле, приходилось только дивиться, сколько здесь труда вложено, какие грандиозные сооружения воздвигнуты.

Через два дня Салим-джану уже наскучило бродить без дела. Он взял кетмень и вышел вместе с отцом на земляные работы. Отец с сыном за день вынули три кубометра земли. Старик был очень доволен, что обрел себе в сыне хорошего помощника. Однако на утро дело повернулось по-другому. Партийный организатор Центрального Комитета ВКП(б) по Фархадскому строительству товарищ Расулев и механик экскаватора Шатский усадили Салим-джана в машину и увезли в Беговат.

Уже сидя в машине, Расулев сказал старику:

— Мы собираемся немного подучить Салим-джана. На экскаватор хотели его посадить. Что вы на это скажете, отец?

— Что сказать мне: кости его мои, а мясо — ваше. Вам видней, куда его следует определить! — Старик улыбнулся.

Машина тронулась.

Старик стоял на берегу канала и долго смотрел ей вслед.

* * *

Ровно через месяц Салим-джан вернулся из Беговата. Механик Шатский повел его на трассу. Там стояла никем не нарушаемая тишина; всюду высились огромные холмы земли, ряды уходивших вдаль столбов, обвешанных проводами; в поле не на чем было остановиться глазу, кругом только колючий янтак да чахлая трава, выгоревшая на солнце... С левой стороны, делая большую излучину, протекал Кировский канал.

Они поднялись на холм. Внизу виднелся разобранный по частям экскаватор.

— Товарищ Хашимов, — сказал Шатский, когда они подошли к экскаватору. — Первой вашей задачей будет — собрать эту машину, подремонтировать ее, затем уже пустить в дело. Все прибывшие к нам экскаваторы в таком же точно положении. Многие наши инженеры и механики уверяют, что заниматься сейчас этим делом нет смысла...

Салим-джан судорожно проглотил слюну. Он почему-то думал, что его подведут к готовой машине и скажут: „Вот тебе экскава-

тор, полезай на него и принимайся за работу.“ Он осмотрел разобранные части экскаватора, покачал головой и ничего не сказал. С тех пор Салим-джан уходил из дому рано утром и приходил поздно вечером, весь перепачканный в мазуте. Часто он и ночами оставался возле экскаватора. Мать, приносящая ему пищу, с трудом могла отличить сына от других, таких же чумазных парней.

Прошло тридцать пять дней, и над полем уже возвышался „экскаватор 22“. К нему был приспособлен десятиметровый трансформатор для сброса земли конструкции Шатского. С помощью этого трансформатора землю можно было сбрасывать на пятнадцать метров.

На фронте Салим-джану приходилось и стрелять из миномета, и сидеть за рулем автомашины, и ремонтировать танки; поэтому и здесь, начав работать на экскаваторе, им же самим собранным, он очень скоро показал себя лучшим машинистом-экскаваторщиком.

С весны 1946 года экскаваторы один за другим стали включаться в работу. Их собирали, ремонтировали и пускали в дело сами строители ГЭС.

* * *

Недавно главный инженер строительства Фархадской ГЭС товарищ Бабун, обратившись к группе прибывших на строительство пионеров, сказал:

— У нас есть один солдат. Мне хочется вас познакомить с ним. Он настоящий солдат...

Мы сели в машину, проехали километров пять по широкой шоссевой дороге, вытянувшейся вдоль Кировского канала, и скоро, достигнув водосброса и миновав гигантские ворота шлюза, уже пешком, по мало заметной тропе, добрались до конца канала.

Холм, на котором мы остановились, должен быть, по словам инженера, рассечен каналом шириною в восемьдесят метров. Отсюда следовало вынуть огромное количество земли, рядом, слева, должна была возводиться высокая дамба. Нас охватили сомнения: казалось, что раньше, чем за год, а то и больше, всего этого никак не сделать. И можно с уверенностью сказать, что словам главного инженера: „За двадцать дней здесь будет проложен прямой, как стрела, канал“, — никто не поверил.

Мы пошли дальше между навороченных повсюду высоких земляных холмов. Издали доносился мощный скрежет и гул. Это работал экскаватор. Когда мы подошли к нему, главный инженер сказал:

— Вот это и есть „экскаватор 22“.

Огромное железное чудовище, вонзая в землю могучие когти, вырывало оттуда кусок в тонну весом, кидало его на себя и затем высыпало метров на пятнадцать-шестнадцать в сторону. Земля вокруг дрожала от рева и грохота. С каждой новой минутой росла огромная гора земли у экскаватора.

Глядя на эту машину, каждый из нас подумал: „Пожалуй, через неделю экскаваторам здесь и делать больше нечего будет.“ И

срок в двадцать дней, о котором говорил главный инженер, оказался нам не таким уж маленьким, пожалуй, даже чересчур длинным.

Немного погодя из машины вышел среднего роста чернявый йигит лет двадцати шести — двадцати семи. На голове его красовалась бухарская тюбетейка с кисточкой на макушке, одет он был в синий комбинезон и яловые сапоги.

— Этот йигит и есть тот самый солдат, о котором я вам говорил, — сказал товарищ Бабун. — Знакомьтесь.

Йигит улыбнулся и протанул нам перепачканную в мазуте руку, предварительно вытерев ее о комбинезон.

— Хашимов.

Когда он сжал в своей мозолистой ладони мою руку, мне показалось, что пальцы мои расплющились.

— Мы уважаем товарища Хашимова за то, что он хорошо работает. Он дает за смену триста — триста пятьдесят кубометров земли, — сказал главный инженер, — но еще больше уважаем его за то, что он, не остановившись перед трудностями, сам пустил в ход этот экскаватор. А это не маленькое дело.

Главный инженер помолчал.

— Товарищ Хашимов один из передовых машинистов нашей стройки. До этого он был храбрым солдатом Великой Отечественной войны, а теперь он солдат строительства Фархадской ГЭС.

Перевел с узбекского *Н. Ивашев*.

ВЕРБЛЮЖЬЯ ТРОПА

1

Старый погонщик верблюдов Солтан Сеид сидел у порога своего дома и задумчиво глядел вдаль. Солнце только что село где-то за далекими берегами Аму-Дарьи, пески окутывались прохладным вечерним туманом, и Солтан Сеид еле различал в сумерках узкую тропу, то змеившуюся среди барханов, то привольно бежавшую по ровному простору песков.

Старика охватили воспоминания. Сорок лет Солтан Сеид водил по этой тропе караваны. Привык он покачиваться на верблюде и, прислушиваясь к переливчатому позвякиванию бубенца, смотреть в высокое каракумское небо, думать о большой жизни и напевать обо всем том, что подсказывала душа. Покажется вдруг в желтом мареве голубое озеро, причудливые дворцы, диковинные деревья, и всякий раз становится жалко, когда поднявшиеся из песков волшебные картины миража внезапно исчезают на повороте тропы. Пустыня Солтана не пугала, хотя и немало затерялось в Кара-Кумах человеческих жизней и самому ему не раз пришлось глядеть смерти в глаза. Нередко в пути его настигала песчаная буря. Угасало солнце, животные, почуввав беду, падали на землю, и нескончаемые часы лежал Солтан, закутав голову, прижавшись к трепетному телу верблюда. Но буря проносилась, и снова он вел караван, как ни в чем не бывало. А сколь сладок после долгого пути крепкий кок-чай у ручья или колодца и как упоительна прохлада, когда караван вступит в душистую тень оазиса! Хороша и привольна жизнь погонщика.

Но вот, этой весной, в Кара-Кумы прилетела удивительная весть. Прибежал сосед Мурад, замахал руками.

— Солтан-ага! Солтан-ага! — больше ничего выговорить не мог.

Потом, несколько успокоившись, объяснил, будто по старой верблюжьей тропе проведут железную дорогу, об этом ему сказал сам председатель колхоза. Скоро запустят поезда, и тогда он, Мурад, поедет проведать своих родичей и в Ходжейли, и в Ташауз,

тогда он, Мурад, будет возить дыни со своего мелека¹ на воскресный базар в Чарджоу.

Дыни у Мурада и в самом деле замечательные, о них только песни складывать; ни у кого нет таких дынь. Но уж слишком хвастливо Мурад говорил о своих дынях и, быть может, только потому Солтан возразил:

— Эх, Мурад, не проверивши слуха, не доноси до чужого уха. Кара-Кумы — потемки, человек теряется, а машина пойдет, споткнется.

О дороге в ауле говорили с уважением. Солтан Сеид тоже был доволен. Его единственный сын Беки работает строймастером в Кызыл-Арвате и редко навещает старика. А теперь-то уж наверное явится к отцу с первым поездом. И все же на сердце Солтана легла неясная тревога.

Сидел он сейчас у порога дома, глядел в сумеречную даль, и в щелках его глаз с припухшими веками как будто застыло горе. Нет, не горе, а грусть: горе говорливо, грусть безмолвна.

Он думал, мучительно думал. Неужели старую верблюжью тропу придавят железом, и больше она никогда не встанет из-под тяжелой насыпи?

Быть может, это было прощание старика со своей молодостью, с утекавшей жизнью.

2

В аул явились незнакомые люди в больших защитных очках, в белых шароварах. С рассвета они уходили в пески, измеряли пустыню шнурами, прицеливались одним глазом в даль через какие-то диковины, установленные на треногах, что-то вписывали себе в тетрадки и то там, то здесь вбивали в землю сосновые колья, большие и малые. Это были изыскатели трассы Чарджоу—Кунград.

Один из них — молодой, белокурый — задержался однажды возле Солтанова дома, стоявшего у песков на краю аула, почесал в раздумье затылок, затем протянул по земле мерную ленту и вбил колышек у самого порога.

— Жаль... по ниче не поделаешь, — проговорил он, ни к кому не обращаясь, и пошел дальше. Стальная лента извивалась за ним, как змея.

Солтан Сеид наблюдал за всем с холодным вниманием. Долго он стоял, глядя на этот таинственный колышек.

Подожел веселый Мурад.

— Эй, Солтан-ага. Как бы не снесли твой домишко. Иль, думаешь, рельсы пройдут по крыше?

Солтан бросил на него тяжелый взгляд и не произнес ни слова.

Ночью, когда поднялась луна и кинула свои отголоски на застывшие барханы, Солтан вышел из дома, нашупал злополучный колышек, с силой выдернул его и забросил в джугару.

¹ Мелек — бахча.

— Не позволю, — прерывисто дыша, шептал старик. — Здесь жил мой отец... Дайте умереть в родительском доме.

Он поднял узловатые руки и, угрожая кому-то невидимому, хрипло крикнул:

— Не пущу!

3

Однажды вечером к Солтан Сеиду постучали в окно. Пришел тот самый молодой белокурый человек, который в свое время вбил колышек у его порога и с которым они затем не раз беседовали по душам.

Старик угостил его чаем, и они просидели до поздна. Уходя, молодой человек остановился в дверях и проговорил с ласковым укором:

— Упрямый вы, Солтан Сеид. Не желаете добра своему народу, своему аулу. Так вам и сын скажет.

Эти слова заделали старика. Он лег на кошму, но заснуть не мог.

— Здесь умер мой отец... — шептал он, — здесь до старости дожил я...

Мало спал в эту ночь Солтан. На рассвете он отправился по холодку в дальний аул, где жил его друг, тоже погонщик верблюдов, тоже старик.

Тот не одобрил упорства Солтана.

— Если бы дорога прошла возле нашего аула да был бы у меня такой Беки, как у тебя, чего еще желать? И послушай, Солтан, ты уже не водишь караванов, тебе, как и мне, надо думать о теплой кошме и мягком чуреке... Правильно говорят: когда все меньше уверенности в своих силах, приходится пить надежду из глаз сына. А дом... пусть он уступит путь паровозу. Как говорится: одобрил народ — и лучшего скакуна под нож.

— Для сына берегу... для сына, понимаешь!

Хозяин помолчал, а затем, видимо, откликаясь на свои собственные мысли, проговорил:

— Ах, как понять молодость! Сердца отцов и матерей льнут к детям, а они бегут в город, на железные дороги. Наши тропы им тесны...

Вернулся Солтан к себе в аул через неделю. Подошел к дому, глянул на старую верблюжью тропу и обомлел. Повсюду — люди. Проворно работая кетменями и лопатами, они насыпали плотно железной дороги. Насыпь угрожающе надвигалась на его дом.

— Вах! — вырвалось из груди старика, и он обессиленно опустился на порог.

Насколько хватал зоркий глаз погонщика, люди трудились по всей линии тропы.

От насыпи отделились двое. Солтан сразу узнал сына — его широкие плечи, его твердую, гордую походку. С ним — молодой, белокурый.

Солтан поднялся. Стоял и в волнении перебирал дрожащими пальцами седую бороду.

— Здравствуй, отец! — еще издали прокричал Беки, приветственно помахивая рукой.

Старик растерянно шагнул вперед. Затем крепко обнял сына, судорожно прижал его к груди и долго-долго держал так, как будто боялся выпустить волшебную птицу.

— Ну, отец, — заговорил Беки, освободившись, наконец, из родительских объятий, — вот и я приехал на стройку. Буду работать здесь и тогда, когда поезда пойдут. Заживем теперь вместе.

Солтан Сеид не верил ни глазам своим, ни ушам. Как Беки явился ко времени!

— Люди говорят, — продолжал Беки, почтительно взяв отца за руки и поглядывая на белокурого человека, — люди говорят, что ты не хочешь впустить нас с железной дорогой в свой дом. Не похоже это на тебя. Как не впустить в дом счастье! Ведь ты всегда мечтал о большой жизни!..

Облегченно вздохнув, старик расправил плечи, как будто с них сняли тяжелый груз.

— Ты, наверное, прав, сын... — произнес он с величавой медлительностью. — А про себя скажу: раз для народа праздник, то и для меня — той¹.

Широким шагом погонщика Солтан Сеид подошел к изъеденной зноем и ветрами двери и рванул ее с петель.

Трасса Чарджоу — Кунграл.

¹ Той — пируество.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

IV

АЛИШЕР НАВОИ

(Окончание)¹

Создавая монументальные „дастаны“, Навои не пренебрегал и более мелкими стихотворными формами. Начал он писать очень рано и на исходе жизни исчислял объем своего лирического творчества примерно в 25000 „бейтов“ или в 50000 стихотворных строк. Навои-лирик пробовал свои силы в самых различных формах, от газелей до стихотворных шарад („муамма“), которые он отлично разгадывал и любил составлять сам.

Газели Навои приобрели значительную популярность, когда поэт был еще очень юн; уже в начале 60-х годов, находясь в Мешхеде, куда он, как мы видели, бежал из Герата, спасаясь от преследований Султана Абу-Саида, Алишер пользовался известностью; заходящие в Мешхед паломники и путешественники навещали больного тогда поэта и искали знакомства с ним. Стихи Алишера собирались и записывались, хотя сам Навои, после первой попытки (в 1464—65 году) составить сборник газелей, не стремился объединить свои стихи в „диван“².

Друзья Алишера неоднократно уговаривали его взяться за составление „дивана“, но высокая требовательность поэта к себе удерживала его от этого. Только настояния правителя Герата — Султан-Хусейна, который сам был поэтом и оставил „диван“ стихов, заставили Навои преодолеть колебания и подумать о систематизации своего лирического фонда.

Стремление не следовать рабски за предшественниками, искать всюду новых путей сказалось у Навои и в этой работе. Поэт остро

¹ См. „Звезда Востока“ №№ 8, 9—1947 г.

² Диван — сборник стихов.

чувствовал скудость мысли своих собратьев по перу, у которых, как он пишет сам, „как будто не было другой цели, кроме описания внешней красоты и восхваления пущка и родинки возлюбленной“. Бывают диваны, — говорит далее Алишер, — в которых не найдешь ни одной газели, полной знания; есть газели, где не встретишь ни одного назидательного стиха“.

Чтобы сделать свои газели более содержательными, Навои решил включить в каждую из них один—другой стих поучительного характера; и действительно, в большинстве его стихотворений, не исключая и самых ранних, мы встречаем философские строки, иногда несколько диссонирующие с общим характером газели.

В отношении жанров Навои тоже значительно расширил обычные рамки „дивана“, включив в него, помимо газелей, четверостишия, строфические стихотворения („мухаммасы“, „мусаддасы“, „муамма“ и т. п.). Алишер собирался составить отдельную книгу также из „касыд“ и „месневи“, но, видимо, не осуществил этого замысла.

Отбор стихов для дивана представлял трудную задачу. Как указывает Навои, он смолоду и до последних лет жизни писал очень легко; минутное переживание юноши тотчас же воплощалось в звучные строки; в газелях и „кыт'а“¹ Навои воспевал и красавиц, и вино, и даже виноторговцев, которые оказывали ему кредит. Включить в сборник весь этот материал было, конечно, невозможно, приходилось отбирать лишь лучшее; вышуская „диван“, поэт, так сказать, держал экзамен на аттестат зрелости, успех сборника окончательно упрочивал положение его автора в литературном мире. Из слов самого Алишера мы узнаем, что успех той или иной газели не всегда объяснялся ее безупречными поэтическими достоинствами. Некоторые свои стихи Навои, по собственному признанию, ни за что бы не включил в „диван“, как недостаточно отделанные, не будь они столь известны и популярны у читателей и собирателей стихов.

Когда именно Навои составил и пустил в обращение свой „диван“ — мы не знаем; это случилось не раньше 1469 года, после вступления на гератский престол Султан-Хусейна, и не позже 1482 года — рукопись „дивана“, переписанная в этом году, имеется в Британском музее в Лондоне.

Опубликовав свой диван под характерным для того времени заглавием „Чудеса начала жизни“, Алишер не переставал работать над подбором новых стихов для второго сборника; этот последний, как говорит Навои, носил название „Редкости конца жизни“; ни одной рукописи его не сохранилось.

Около 1491 года Алишер, по совету своего друга и наставника Абд-ар-Рахмана Джами, приступил к составлению третьей редакции сборника своих лирических стихов, которая и дошла до нас. В этой редакции, представленной значительным количеством рукописей, стихи Навои распределены по четырем „диванам“ (отсюда

¹ *Кыт'а* — небольшое стихотворение в несколько строк с единой рифмой.

и употребительное в популярной литературе о Навои название „Чар-диван“ („Четыре дивана“). В первый „диван“ („Диковины детства“) должны были, по мысли Навои, войти произведения, написанные им от 17 до 20 лет; во второй („Редкости юности“) стихи, созданные между 20 и 35 годами; творчество между 35 и 45 годами жизни поэта должно было найти свое отражение в третьем „диване“ („Чудеса средней поры жизни“), и, наконец, в четвертый „диван“ („Полезные наставления старости“) должны были войти произведения, написанные в последние 15 лет жизни их автора.

Такова история создания последнего свода „диванов“ Навои, рассказанная самим поэтом в предисловии к этой редакции своих стихов. Предисловие это написано, когда Навои было почти 60 лет по мусульманскому „лунному“ счислению (мусульманский год, как известно, короче нашего на 11 дней), то-есть около 1498 года.

Изучение известных нам рукописей „Чар-дивана“ Навои показывает, что почти все эти рукописи, не исключая и самых ранних, прижизненных Алишеру, отличаются одна от другой как по составу, так и в отношении текста отдельных стихотворений. Никакой системы в расположении газелей в отдельных диванах установить нельзя (за исключением, конечно, алфавитного порядка рифм, обязательного для „дивана“); хронологический принцип тоже не соблюден: в „Диване детства“ мы, например, находим стихи с жалобами на старость; один раз поэт даже прямо говорит, что ему исполнилось пятьдесят лет. В „Наставлениях старости“ попадаются чисто юношеские по характеру произведения, явно относящиеся к ранним поэтическим опытам Алишера. Если в позднейших рукописях „диванов“ состав и порядок стихотворений мог меняться в зависимости от вкуса переписчиков, то подобные различия в прижизненных Навои манускриптах, когда текст каждого отдельного дивана, казалось бы, должен был оставаться неизменным — объяснить уже труднее. Сложность вопроса усугубляется еще и тем, что во всем весьма значительном по количеству фонде известных нам рукописей сочинений Навои нет ни одного манускрипта, просмотренного самим Алишером; даже на рукописи „Пятерицы“, отдельные поэмы которой переписаны в том самом году, когда они создавались автором (рукопись эта хранится в Академии Наук УзССР), мы не находим ни единого исправления, сделанного рукой самого Навои, хотя описки там изредка встречаются.

Как бы то ни было, авторизованного текста „Чар-дивана“, как, впрочем, и других произведений Навои, у нас пока нет. Древнейшие из существующих рукописей лирических произведений Навои дают, однако, вполне надежный материал для изучения этих произведений, как памятников древне-узбекского языка и литературы.

Читая газели Навои, прежде всего поражаешься неисчерпаемому богатству лексики поэта. Мастерски используя все возможности древне-узбекской литературной речи, Навои не пренебрегает и средствами разговорного языка как городского, так и кочевого населения. Особенно искусно владеет Навои омонимами, столь обильно представленными в древне-узбекской лексике; мастерское

использование семантических различий одинаково звучащих тюркских слов нашло отражение в блестящих „туюгах“ Навои — четверостишиях, где рифмующие слова — омонимы.

Немалую роль играют в лексике Навои также арабизмы и иранизмы — заимствования арабских и персидских слов. В Хорасане второй половины XV века, где преобладало ираноязычное население, персидский язык, естественно, занимал господствующее положение и глубоко внедрился в устную и литературную древне-узбекскую речь. А в персидском языке того времени, как письменном, так и разговорном, был очень велик удельный вес слов арабских, которые в большой мере просочились и в памятники древне-узбекской литературы. Сосуществование трех языков позволяло Алишеру виртуозно использовать тончайшие оттенки значений арабских, персидских и древне-узбекских синонимов. Делал он это с большим художественным тактом, не допуская явных варваризмов и прибегая к иностранным словам главным образом для выражения отвлеченных понятий.

Другая отличительная черта лирических стихов Навои — насыщенность их образами. В отличие от своих предшественников и современников, Алишер широко пользуется в газелях метафорами, сравнениями и уподоблениями, заимствованными из реальной повседневной жизни. Одним из его излюбленных поэтических приемов является пояснение в двустрочном „бейте“ освященного традицией отвлеченного образа с каким-либо фактом из живого быта (к примеру: „мои слезы скачут на ресницах, словно мальчики верхом на палочке“; „ты спрятала от меня рубин своих уст, как дети, играя, прячут колечко“; „рубашка колыхается на твоей белой груди; так трясется рука скраги над грудой серебра“ и т. п.). Подобные черточки, которые попадают в большинстве газелей Навои, доказывают тонкую наблюдательность поэта и неослабевающий интерес его к реальной жизни, властно вторгающейся в столь, казалось бы, замкнутый и далекий от действительности мир луноликих красавиц и вечно томящихся по ним влюбленных. Реализм поэзии Навои высоко поднимает ее над уровнем современного ему стихотворства и роднит Алишера с величайшими художниками слова всех времен и народов.

Пленяет в лирической поэзии Навои богатство фантазии, не переходящей, однако, в гротескные гиперболы, характерные для некоторых его современников (сам Навои с добродушной иронией отмечает эту черту в стихах своего друга эмира Сухейли, писавшего по-персидски), жизнерадостность, часто побеждающая традиционный в газели пессимизм и, наконец, замечательная в жестокий и темный век Алишера широта и гуманность взглядов. Автор „Хайрат-ал Абрар“ и „Семи планет“ остался верен себе и в лирических стихах: сын своего времени, он принадлежал к наиболее прогрессивным представителям эпохи, был борцом за идеалы гуманности и просвещения, противником религиозного мракобесия, изуверства и ханжества. Обличение „лицемерных шейхов“ — один из основных мотивов лирических стихотворений Навои; обманщи-

ков и мошенников, эксплуатирующих религию как средство преуспеяния и обогащения, Алишер разит дождем стрел сарказма и остроумия, находя каждый раз новые бичующие слова. Как уже приходилось говорить, объектом его нападков является, конечно, не ислам, не самая религия, а ее порочные представители, но в борьбе с ними Навои не знает пощады.

Автобиографический элемент в газелях Навои, как уже было нами указано, очень скуден и во всяком случае лишь с большим трудом поддается выявлению. При чтении того или иного стихотворения порой чувствуется какой-то намек на реальное переживание или обстоятельство, но понятен этот намек был только для современников. На вопрос о причинах возникновения отдельных газелей того или иного поэта можно ответить лишь в отдельных случаях; чаще всего стимулом для сочинения газели был, повидимому, удачно найденный первый „бейт“, определяющий размер, рифму и до некоторой степени основное содержание всего стихотворения; нередко газель возникает, как „ответ“ („назира“) на другое стихотворение; в таких случаях „ответ“ дает лишь перенев образца и интересен главным образом в техническом отношении.

В огромном лирическом наследии Навои попадаются, конечно, и такие образчики чисто виртуозного искусства. Сыграв некоторую роль в деле развития и обогащения родного языка поэта, подобные упражнения в технике лишь по чисто внешним признакам могут быть отнесены к поэзии и занимают в творчестве Навои весьма скромное по значению место.

Из других разновидностей лирической поэзии, которым посвящал себя Навои, наибольшего внимания заслуживают его „рубаи“ — четверостишия, где три строки связаны единой рифмой (четвертая может не рифмовать). Рубаи заняли в восточной поэзии прочное место главным образом благодаря несравненному мастеру этого жанра, Омар-Хайяму, известному европейским читателям по изящному, но мало похожему на подлинник переводу Фитц-Джеральда. В турецкой и, в частности, в древне-узбекской литературе четверостишия встречаются и до Навои, но под пером Алишера рубаи достигли особого совершенства и законченности. Еще со времен Омар-Хайяма эта форма считалась наиболее подходящей для афористическо-философских высказываний, главным образом пессимистического содержания. Таков и основной характер рубаи Алишера, но тематика их шире и разнообразней. В своих четверостишиях поэт высказывает те же передовые для его времени идеи, зовет к справедливости, честности и милосердию, ратует против лжи, невежества и насилия.

Таковы в самых, разумеется, общих словах основные черты лирической поэзии Навои. Эта часть литературного наследия поэта еще недостаточно исследована, дальнейшее изучение ее, несомненно, позволит лучше раскрыть многие стороны его творчества. В этом — одна из насущных задач литературоведов Узбекистана, располагающих богатейшим собранием рукописей лирических стихов Навои.

Великий поэт, Навои был также и замечательным мастером узбекской прозы. Как прозаик Алишер выступил на литературную арену довольно поздно: его первое произведение в прозе (перевод на древне-узбекском языке сорока преданий о словах и делах основателя ислама Мухаммеда) написано в 1481 или 1482 году. Больше всего Алишер писал прозой в последние десять лет своей жизни, когда относительный досуг дал ему возможность вернуться к литературной деятельности. В этот период им создано около полутора десятков прозаических произведений. Значение их не одинаково, но каждое из этих произведений — замечательный образец древне-узбекской прозаической речи, весьма скудно представленной в предшествующей Навои литературе.

В начале этого периода (в 1490—91 г.) появилось наиболее, пожалуй, ценное для истории узбекской и вообще среднеазиатской литературы XV века произведение Навои — его литературно-биографическая антология: „Собрание драгоценных“ (Маджалис-ан-Нафаис). В предисловии к этому сборнику биографий хорасанских и самаркандских поэтов Алишер говорит, что составил его, желая спасти имена этих поэтов от забвения, и взял за образец подобное же сочинение на персидском языке современного ему литератора Давлет-шаха самаркандского. Произведение Навои, совершенно самостоятельное по содержанию, состоит из краткого вступления и восьми „собраний“ (отделов); в этих собраниях даются сведения о поэтах, живших со времени рождения Султан-Хусейна (1438 г.) до дней составления книги. О каждом поэте Навои сообщает краткие биографические данные (иногда — только место его рождения) и приводит один-два „бейта“, принадлежащих ему. Особенно подробно Навои говорит о поэтах, писавших на древне-узбекском языке, из них в его антологии упомянуто около двух десятков.

В своих характеристиках Навои бывает иногда несколько суров, но его отзывы почти всегда отличаются остроумием и легкостью. „Маулана Хусрави, — пишет он, например, про одного своего современника, — был человек с большими притязаниями и вспыльчивый. Иногда он приносил мне стихи, но предварительно задавал такие вопросы, что путь для всякого вмешательства (т. е. критики) оказывался закрыт и поневоле приходилось хвалить все его стихи“.

„Маулана Айязи был человек странного вида, — читаем мы про другого поэта. — Повадки его и слова, и в поэзии и в прозе, были тоже необыкновенны. Я видел его в одном собрании у Пуль-и-Малана. Он читал касыду в толпе людей. Как только он начинал какой-нибудь стих, я по сочетанию слов угадывал и говорил рифму; маулана Айязи был очень удивлен. Три года спустя, на собрании в Баг-и-Сефиде произошло точь-в-точь то же самое. Маулана Айязи снова изумился. При этом присутствовало несколько человек, которые были и на том собрании. Они спросили Маулана Айязи: „Видел ли ты когда-нибудь этого человека?“ Так как у него болели глаза, он ответил: „Не видел, но три года тому назад, у Пуль-и-Малана, я видел одного молодца, который выкидывал такие же штуки“.

А вот отзыв о знаменитом Секкаки:

Маулана Секкаки — из Мавераннахра. Жители Самарканда очень к нему привержены и чрезвычайно его хвалят. Однако, когда я был в Самарканде и допытывал хвалителей, чтобы узнать что-нибудь из плодов его дарования, не объявилось ничего, заслуживающего таких похвал. Если им (самаркандцам) нечего сказать, то слова их таковы: „Все хорошие стихи маулана Лутфи принадлежат маулана Секкаки, но маулана Лутфи урал их и приписал себе.“ В тех местах бывают иногда случаи такой неприличной пеллой похвальбы“...

В „Собраниях драгоценных“ Навои мы находим множество мелких бытовых черточек, характеризующих гератскую жизнь в последней четверти XV века; немало интересного содержит эта книга и для биографа самого Алишера: это единственное сочинение, где имеются кое-какие сведения о самаркандском периоде жизни Навои. При всей своей скромности Алишер в этой книге вынужден иногда, говоря о каком-нибудь поэте, коснуться своей роли, как мецената. Оказывая покровительство какому-нибудь подающему надежды провинциалу, Навои нередко приходилось испытывать разочарование, как видно из такой, например, характеристики:

„Сейид Кураде происходит из Шираза. Ради учения он избрал пребывание на чужбине и приехал в Хорасан. Он казался достойным жалости и заслуживающим внимания, так как был невзрачен и юн годами. Его поручили одному достойному мужу, чтобы тот заботился о нем и учил его. Сколько возможно ласки и великодушия было ему оказано, но прошло короткое время, и он начал творить всякие чудеса. Некоторое время я как будто не слышал того, что слышал, и не видел того, что видел; наконец, дело зашло слишком далеко и дошло до того, что он не мог оставаться в хорасанском государстве и ушел в Самарканд. Известно, что он сражается с самаркандскими пьяницами и если не побеждает, то и не побежден. Дела его слишком известны, чтобы о них была нужда говорить“.

В „Собраниях драгоценных“ перед нами проходит весь литературный Герат конца XV века, центром которого был Алишер Навои. При своих широких многообразных интересах, Навои собирал вокруг себя не одних лишь поэтов и литераторов; в его доме можно было встретить художников, музыкантов и представителей всевозможных прикладных искусств, развитию которых Алишер уделял много внимания. Из питомцев Навои наиболее известны „Рафаэль Востока“ — художник Камаль-ад-дин Бехзад, автор бесподобных книжных иллюстраций и замечательный портретист; историк Хондемир, написавший проникнутую благоговением биографию своего покровителя; поэт Хилали, музыканты Шейх-и-Най и Хусейн Уди и множество других представителей всевозможных наук и искусств.

Не все питомцы платили ему, подобно Хондемиру, благодарностью. В современной Алишеру литературе сохранилось много рассказов о постоянных столкновениях Навои с язвительным и остро-

умным поэтом Бешнаи — ярким ненавистником древне-узбекского языка и поклонником всего иранского. Ни высокое положение Алишера, ни материальная поддержка, получаемая от мецената, не могли удерживать Бешнаи от дерзких, порой непристойных выходов по адресу Алишера. Последний, ценя талант разносторонне одаренного поэта, относился к Бешнаи с великой терпимостью и посвятил ему сочувственную заметку в „Собраниях драгоценных“.

Не требуя благодарности за помощь, Навои с величайшим уважением относился к тем из своих друзей и учителей, которым был чем-нибудь обязан. Среди его духовных наставников первое место безусловно принадлежит знаменитому поэту и ученому Абдар Рахману Джами, чье имя уже упоминалось на страницах наших „Очерков“. Навои был близок Джами с юных лет и эта связь не порвалась до самой смерти поэта, умершего в 1492 году. Потрясенный кончиной наставника, Алишер решил воздвигнуть ему памятник в виде достойной учителя биографии. При этом Навои, закрепляя на бумаге основные события жизни Джами, стремился подчеркнуть дружеское расположение последнего к преданному ученику и привести как можно больше фактов, свидетельствующих о тесных взаимоотношениях между ними. В результате возник своеобразный литературно-биографический документ, в котором Джами выступает не столько как поэт, сколько как философ, ученый и, прежде всего, как человек.

„Пятерица смятенных“ — так называется эта книга Навои — состоит из трех отделов, обрамленных предисловием и заключением. Каждая из этих пяти частей должна была, по мысли Навои, повергнуть читателей в смятение — отсюда заглавие книги. Биография Джами была задумана не как художественное произведение, но написана она большим художником слова и это наложило своеобразный отпечаток на стиль и характер всей книги. Язык ее, в общем, прост и ясен, лишь в тех местах, где идет речь о суфизме и связанных с ним вопросах, изложение становится несколько более напряженным и туманным. Жива в эпоху, когда любовь к словесной изысканности получила самое яркое выражение не только в стихах, но и в прозе, Навои имел достаточно вкуса, чтобы не слишком поддаться этой моде. Правда, в отдельных местах, особенно в стихотворных отрывках, у него иногда чувствуется желание блеснуть высокой литературной техникой, но все же форма почти никогда не преобладает в этой книге над смыслом.

Навои-художник чувствуется и в подборе материала. В „Пятерице смятенных“ много диалогов, коротких рассказов и сценок, рисующих ту или иную черту в характере Джами. В этих рассказах разбросано немало деталей, ценных для биографа самого Алишера.

Большой интерес представляет отдел „Пятерицы смятенных“, посвященный корреспонденции Навои и Джами. Учитель и ученик переписывались очень усердно и обменивались посланиями даже тогда, когда жили в одном городе. Об этом свидетельствует, между прочим, сборник писем, адресованных Навои его друзьями и

почитателями. Эти письма сохранились в автографах и еще при жизни Алишера были, по его приказанию, собраны в особый альбом, находящийся ныне в Институте по изучению восточных рукописей Академии Наук УзССР. Большая часть входящих в этот альбом писем принадлежит перу Джами. Поэт обращался к своему ученику по всевозможным поводам, чаще всего, как ходатай за многочисленных просителей, прибегавших к его посредничеству. Немало в этих посланиях и интересных деталей, проливающих свет на литературную историю отдельных произведений обоих корреспондентов. Многие письма Джами и Навои, вошедшие в альбом, имеются в „Пятирице смятенных“; подлинные письма самого Алишера, к сожалению, утрачены.

В следующем отделе „Пятирицы“, где очерчен образ Джами как ученого, говорится, главным образом, о книгах, написанных им по инициативе Навои. Понятно, какую ценность представляют подобного рода данные для историка среднеазиатско-иранской культуры; заключающиеся в этом отделе сведения дают полное представление о широте интересов самого Навои и подчеркивают его неустанный стремление содействовать развитию науки и просвещения.

В заключительной главе „Пятирицы смятенных“ Навои подробно рассказывает о последних минутах жизни Джами, у изголовья которого Навои находился до самой кончины. Столь детального описания хода болезни и смерти великого поэта мы не находим ни в какой другой его биографии.

Памяти еще двух своих друзей — борца, поэта и музыканта Пехлевана Мухаммеда и самоуглубленного мистика Хасана-ибн-Ардешира посвятил Навои небольшие сочинения: „Житие Пехлевана Мухаммеда“ и „Житие Сейид-Хасана-ибн Ардешира“. В этих поминальных заметках Алишер с любовью и грустью рассказывает о встречах со спутниками своей жизни, сообщая нам множество подробностей своей личной биографии, отсутствующих в других его сочинениях.

Надвигающаяся старость не ослабила творческих способностей Навои: в последние годы своей жизни он создал три замечательных произведения: поэму в двустихиях „Язык птиц“, сборник морально-дидактических афоризмов и коротких рассказов „Возлюбленный сердце“ и, наконец, знаменитое, полное чисто юношеского пыла „Суждение о двух языках“ — своеобразный манифест о праве древне-узбекского литературного языка на существование наряду с языком персидским.

Поэма „Язык птиц“ возникла как „ответ“ на однородное по содержанию произведение знаменитого иранского поэта-мистика Ферид-ад-дина Аттара — „Беседа птиц“. Познакомившись с „Беседой птиц“ еще в детстве, Навои на всю жизнь сохранил любовь к этой поэме, затрагивавшей глубоко волновавшие Алишера философские вопросы и написанной прекрасными звучными стихами. Мысль создать „ответ“ на поэму Аттара зародилась у Навои с юных лет, но только в конце жизни Алишер счел себя достаточно зрелым для

выполнения этой задачи. Начатая работа шла очень быстро, каждый день, вернее, каждую ночь. Алишер писал от тридцати до сорока двойных стихов (месневи). В результате возникла большая поэма, состоящая из 176 отделов и заключения. Каждый отдел включает в себя ряд небольших рассказов, иллюстрирующих то или иное философское положение. Содержание „Языка птиц“ в общих чертах таково. Птицы всех пород, под предводительством удода, решают отыскать сказочную птицу „Симург“, чтобы поставить ее над собой царем. Но когда наступает время отправиться в путь, птицы, одна за другой, выдвигают всякие предлоги, чтобы уклониться от тяжелого пути. Удод опровергает эти предлоги. В конце концов птицы пускаются в дорогу. Многие из них погибают и только 30 птиц остаются в живых. Подумав, они приходят к выводу, что уцелевшие тридцать птиц и есть тот „Симург“ (в нарицательном смысле „Симург“ означает 30 птиц), которого они ищут.

Хотя Навои в конце „Языка птиц“ и называет себя простым переводчиком поэмы Аттара, но в действительности из под его пера вышло произведение, во многих отношениях совершенно самостоятельное. Как и всякий „ответ“, „Язык птиц“ сохраняет метрическую форму и основной сюжетный скелет образца; облекая этот костяк плотью, Алишер не мог, однако, ограничиться ролью переводчика, перестать быть творцом. Язык Навои много проще и реалистичнее, чем у Аттара. Мистический элемент, насквозь пронизывающий поэму Аттара, чувствуется в „Языке птиц“ много слабее; крайние шиитские взгляды персидского поэта, не созвучные настроениям гератского двора, у Навои значительно смягчены; суфийские теории изложены им в гораздо более близкой к мусульманскому правосерию форме, чем в поэме Аттара. Верный себе, Навои чисто символические сюжеты трактует с известным реализмом, особенно ярко проступающим во вставных и иллюстративных рассказах. Огромное большинство этих рассказов иные, чем у Аттара; многие из них представляют собой сценки из жизни, случаи, которые Навои, быть может, приходилось слышать. Подобного рода бытовые сценки, которых в „Языке птиц“ великое множество, приобретают в поэме Навои, написанной, казалось бы, на самые отвлеченные темы, немалую познавательную ценность; реалистические черты, отмеченные тонким юмором, неизменная прогрессивность философских взглядов поэта и, наконец, великолепный язык обеспечивают „Языку птиц“ достойное место в ряду произведений Алишера Навои.

Те же философско-этические проблемы трактуются им и в другом произведении, созданном незадолго до кончины, — в „Махбуб-аль-Кулуб“ („Возлюбленный сердец“). Книга эта написана рифмованной прозой, пересыпанной стихотворными вставками. В „Возлюбленном сердец“ Навои как бы подытоживает свой жизненный опыт, передает людям плоды мудрости старца, много размышлявшего над вечными вопросами жизни. „Махбуб-аль-Кулуб“ состоит из трех частей. В первой характеризуются различные общественные классы и группы, вторая трактует различные вопросы этики

и морали, третья состоит из афоризмов и изречений. Не заключая в себе, по сравнению с другими философскими произведениями Алишера, ничего особенно нового, книга „Возлюбленный сердце“ представляет собой как бы свод, квинт-эссенцию морально-этических взглядов Навои, выраженных в яркой, доходчивой форме. Этим, в частности, объясняется огромный успех „Махбуб-аль-Кулуб“ у современников Навои и позднейших читателей; рукописи этой книги переписывались в очень большом количестве, многие ее афоризмы стали народными пословицами.

Гораздо меньшим распространением в силу своего менее популярного характера пользовалось последнее из подлежащих нашему рассмотрению произведений Навои — „Суждение о двух языках“ („Мухакамат-аль-Мугатайн“). В этой книге, написанной в самом конце 1499 года, Алишер выступает горячим защитником родного ему древне-узбекского языка, который, по его мнению, ничем не уступал персидскому, а в некоторых отношениях даже превосходил его. Нам уже приходилось на предыдущих страницах касаться воззрений Алишера на этот вопрос и здесь остается добавить лишь немного. Аргументы Навои в защиту родного языка кажутся порой несколько наивными („всякий тюрк говорит по-персидски, но далеко не все иранцы знают тюркский язык“), увлечение и полемический задор иногда нарушают объективность мысли. Но основной тезис автора „Пятерицы“: „на тюркском языке можно писать так же хорошо, как и по-персидски“, блестяще подтверждается не столько теми доводами, которые в изобилии приводит Алишер в „Суждении о двух языках“, сколько его личным творчеством, подлинным древне-узбекский язык на большую высоту. Из „Мухакамат-аль-Мугатайн“ мы видим, как трудно было положение защитника древне-узбекского языка в гератском литературном мире. Большинство его представителей, спекулируя славой таких корифеев, как Фирдоуси, Саади, Низами, Хафиз, превозносили их малодаровитых эпигонов, низведших искусство поэзии на уровень замысловатого технического фокуса. Прорвать брешь в глухой стене явной и тайной оппозиции древне-узбекскому языку не могли и специальные, несомненно, инспирированные Алишером приказы и поощрения Султан-Хусейна, призывавшего гератских поэтов писать, пусть хоть немного, по-тюркски. Не имели успеха в Хорасане и пламенные призывы Навои: со смертью Алишера древне-узбекская поэзия там не развивалась и продолжала культивироваться только в Мавераннахре, то-есть на территории нынешнего Узбекистана.

Разбирая прозаические сочинения Навои, мы, конечно, могли охарактеризовать лишь важнейшие из них, да и то в самой общей форме. Наряду с перечисленными произведениями, Алишер создал еще и ряд других, менее выдающихся по значению трудов, представляющих интерес, главным образом, для литературоведов: таковы: трактат по просодии „Весы стихотворных размеров“ („Мизан-аль-авзан“), „История царей Ирана“, „Веяния любви“ — дополненный пе-

ревод сборника биографий знаменитых суфиев, принадлежащий перу Абд-ар-Рахмана Джами, и т. п.

Если, полноты ради, упомянуть еще диван персидских газелей Алишера, составленный под тахаллусом „Фэзи“ („тленный“, „проходящий“), то обзор литературного наследия Навои можно считать законченным.

Усиленно предаваясь, в последние годы жизни, творческой деятельности, Навои был вынужден уделять внимание и государственным делам. По возвращении из Астрабада (в конце 1488 года) Алишер, как мы видели, не занимал никаких официальных должностей; пользуясь титулом „приближенного его величества султана“, он сохранил, однако, значительное влияние при дворе. Султан-Хусейн неоднократно поручал Алишеру переговоры со своим непокорным сыном Бади-аз-Заманом, который смотрел на Навои, как на своего воспитателя. Поездки к царевичу и участие в походах Султан-Хусейна были крайне утомительны для немолодого уже Навои, никогда не отличавшегося крепким здоровьем.

С годами разнообразные недуги значительно подточили организм Алишера. В одном из своих последних по времени творений поэт жалуется на великую слабость, бессоницу и отвращение к еде. В ярких выразительных словах дает Алишер картину постепенного угасания своего физического „я“, видимо, чувствуя приближение смерти.

Могучий дух Алишера оставался, однако, не сломленным и „приближенный его величества“ попрежнему брал на себя самые ответственные поручения султана. Не раз приходилось ему, в отсутствие Хусейна, исполнять должность „хакима“ (правителя) Герата.

Летом 1500 года Султан-Хусейн выступил в поход на Астрабад, где укрепился один из его мятежных сыновей. Всю осень и зиму Алишер провел в Герате правителем. В конце года пришло известие, что султан возвращается; Навои выехал ему навстречу. В четверг 31 декабря в окрестностях Герата показалось войско Хусейна. Навои на коне ожидал его приближения. Когда султан со свитой остановился в нескольких шагах от встречающих, Алишер сошел с коня и направился к Хусейну, опираясь на плечи двух друзей (одним из них был совсем еще тогда юный историк Хондемир, который и сообщает нам эти подробности). Подойдя к султану, лежавшему в носилках — разбитый подагрой Хусейн давно не мог ходить и ездить верхом — Алишер поцеловал ему руку и тут же опустился на землю, пораженный апоплексическим ударом. После некоторых колебаний больного решили везти в Герат; по дороге Алишеру стало хуже, ему пустили кровь, но крови не вытекло ни капли. Доставленный домой Алишер промучился еще несколько суток и умер, не приходя в сознание, 3 января 1501 года.

* * *

Всю свою жизнь Алишер Навои посвятил делу развития и процветания родной ему древне-узбекской литературы. Он не жалел сил и средств на пользу науки, культуры и просвещения на-

рода. Большой талант Навои помог ему, преодолевая явное и тайное противодействие идейных и политических врагов, воздвигнуть на фундаменте, заложенном его славными предшественниками, величественное здание древне-узбекской поэзии, непреклонная воля к движению вперед по пути прогресса вдохновляла те многочисленные культурные начинания, инициатором и воплостителем которых в жизнь был славный создатель „Хамса“ и „Чар-дивана“. Под пером Навои древне-узбекский язык заиграл новыми яркими красками, стал послушным инструментом, чутко подхватывающим и воплощающим в слова тончайшие оттенки мыслей и чувств. Именно чувства и мысли, а не чисто технические трюки и ухищрения, дают основной тон поэзии Навои, так резко выделяющей его в хоре современных ему стихотворцев. Усовершенствовав орудие поэзии — язык, Навои насытил свои произведения глубоким содержанием, выдвинул древне-узбекскую литературу в ряд мировых литератур.

Затронув основные вопросы этики и морали, искони волновавшие передовых представителей человечества, Алишер по каждому из этих вопросов сумел сказать свое слово, не звучавшее до него в древне-узбекской поэзии, и каждое его слово звало вперед, к вершинам правды и справедливости. Алишер, конечно, не мог полностью освободиться от предрассудков, господствовавших в ту страшную эпоху, но освободил свой дух от многих цепей, сковывавших умы даже наиболее передовых его современников. В огромном наследии Алишера найдется немало опровергающих друг друга строк, но противоречивость присуща многим великим талантам, не сразу сумевшим выработать стройное, цельное мировоззрение.

В своих стихах Навои не был объективным наблюдателем жизни, бесстрастным учителем и наставником. Нервный и впечатлительный, он чутко откликался на окружающую действительность; всегдашней его реакцией на зло и несправедливость была борьба, но средством борьбы были для него не только словесные обличенья — и делами своими старался он помочь родной стране и народу. Много „обителей блага“ — странноприимных домов, медресе и т. п. было воздвигнуто по инициативе Алишера; еще больше выпестовал он талантливых поэтов, музыкантов, художников. Неумоимо создавая сам культурные ценности, он зорко подмечал и в других творческие способности и всячески содействовал их развитию. Великий поэт и неустанный ревнитель культуры, Алишер обрел на этих двух поприщах непреходящую славу и заслужил вечное уважение и признательность узбекского народа, а с ним — и всех народов СССР. Дальнейшее углубление изучения жизни и творчества Алишера Навои — прямая обязанность узбекских литературоведов; создание адекватных оригиналу переводов его произведений на языки народов СССР — благодарная задача поэтов и переводчиков всего великого Советского Союза.

НОВЫЕ КНИГИ

К а м и л Ф а й з у л и н. „Девушка из Пахта-абада“. Ташкент. 1947.

П. Алексеев, А. Шмаков. „На белых землях“. Ташкент. 1947.

Объединенное издательство „Правда Востока“ и „Кзыл Узбекистан“ выпустило в свет две первых книжки из серии „Библиотека Комсомольца Узбекистана“. Задача серии — в форме художественного очерка рассказать советскому читателю о трудовых подвигах молодежи, дать яркие портреты молодых героев хлопковых полей и социалистической промышленности Узбекистана. Это прекрасное начинание надо всячески приветствовать.

Очерк К. Файзулина „Девушка из Пахта-абада“ посвящен юной мастерице высоких урожаев хлопка, Герою Социалистического труда Замире Муталовой, возглавляющей комсомольское звено в колхозе имени Ильича, Средне-Чирчикского района. В своем очерке Файзулин рисует трехлетнюю упорную борьбу звена Замиры за высокий урожай.

Вот они, четыре робких узбекских девушки — Замира, Ульмас, Ходича, Улькин — впервые присутствуют на собрании колхозников. Они волнуются: доверит ли им колхоз особый участок? Ведь Замире только пятнадцать лет. Поддержанные секретарем комсомольской организации, они получают желаемое. Комсомольское звено создано. Еще малоопытные, девушки обращаются за советами к старым хлопкоробам: „ведь не зря в народе говорят, что даже настоящий мудрец, спрашивая, учится, а стыдящийся вопросов себя губит“. Девушки жадно выслушивают слова старика Камиль-ата. „Имеющий терпенье, — говорит девушкам на прощанье Камиль-ата, — способен создать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Есть терпение, будет и умение“. Терпение у девушек есть, умение приходит с годами.

Автор рассказывает о героических усилиях Замиры и ее подруг, о их доблестном труде на своем участке, о их любовном уходе за каждым кустом хлопка, об овладении агротехникой. Кривая роста урожайности резко идет вверх: 1944 год дает 68 центнеров с гектара, 1945 год — 98 центнеров, 1946 год — 101 центнер. Правительственные награды украшают грудь прославленной звеньевой. Ей присвоено звание Героя Социалистического труда.

Удались К. Файзулину те страницы, где раскрывается характер социалистического соревнования в колхозе. Звеньевая не может довольствоваться успехами лишь одного своего звена — она борется за то, чтобы и другие звенья улучшили свою работу, чтобы колхоз в целом выполнял государственный план хлопкосдачи. Социалистическое соревнование не соперничество, а братская взаимопомощь. В очерке рассказано, как Замира вывела из числа отстающих звено комсомолки Джурабаевой. Замира „пристально следила за развитием хлопчатника на участке Джурабаевой, часто давала советы, а когда нужна была помощь — помогала вместе со своим звеном“.

Запоминается сцена, когда возмущенная Замира „отчитывает“ председателя колхоза за то, что он распорядился выдать ее звену 100 кг. минеральных удобрений сверх нормы. „Это нечестно — восклицает она. — Одно высокоурожайное звено в артели — это капля в море...“ Так рождается чувство государственной ответственности за работу других звеньев, всего колхоза в целом.

Книга П. Алексеева и Ал. Шмакова „На белых землях“ повествует о покорении солончаковой пустыни, превращенной усилиями советских людей в цветущий хлопковый массив. В очерке приводятся замечательные слова С. М. Кирова: „Нет такой земли, которая бы в умелых руках при советской власти не могла быть повернута на благо человечества“. И эта мысль подтверждается всем ходом повествования. Авторы переносят нас в урочище Бус Наманганской области, на землю, „вздыбленную барханами, покрытую перламутровыми солончаками“, на левобережье Кара-Дарьи. Из первой главы „Рассказ мираба“ мы узнаем о безуспешных попытках покорить пустыню в дореволюционный период. Только в советское время на ранее безводной земле смог вырасти Янги-Абад (Новоград) — центр будущего степного района, с жилыми домами, машинно-тракторной мастерской, акушерским пунктом, магазином. Знатный мираб Бектемир Чутбаев торжествует: вместе с водой в пустыню пришла жизнь, в ноябре 1946 года родились первые 18 колхозов.

Перед читателями предстают организаторы и творцы колхозной жизни — энтузиаст Кутмитдин Ахраров, работающий председателем сельсовета, заместитель директора МТС по политчасти Тайчинов, а также „солдаты МТС“ — трудолюбивые трактористы Сатывалдыев, Ханкельдыев, Вахабов, звеньевая Халимахон Мамаджанова. Правда, не все образы перечисленных тружеников оживают под пером авторов — вместо реалистического раскрытия образа часто предлагается сухая протокольная запись о достигнутых успехах. Тем не менее очерк дает яркое представление о тех трудностях, которые героически преодолеваются советскими людьми на осваиваемой пустынной земле. Последняя глава рисует колхозный праздник, посвященный окончанию сева.

Стиль очерка „На белых землях“ неровен, его литературная обработка далека от совершенства. Текст пестрит неуклюжими, наспех скроенными предложениями: „Если верить преданию, то земли, что простирались сейчас вокруг, стали белыми от пролито-

то человеком нота в его вековой борьбе за жизнь в сухой степи" (стр. 7); "Так сильна была жажда к лучшему, большому в их душах, поднятая и взращенная советской действительностью. Это происходило от того, что вера и надежда в светлое будущее были реальной плотью советских людей... На полях был в разгаре сев, пахота, уйма нерешенных вопросов" (стр. 12). "Он понял, что поступил правильно, только тогда, когда сюда после напряженного трудового дня в мастерских потянулись ремонтеры, приезжающие из колхоза трактористы, бригадные механики" (стр. 13).

Хорошо задуманная серия очерков о героях социалистического труда не должна страдать от незрелости художественной формы, от низкой языковой культуры.

С. Лиходзиевский

СОДЕРЖАНИЕ

В. Луговской. Фархадстрой. <i>Поэма</i>	1
Ата Каушутов. Мяхри и Вепа. Главы из романа. <i>Перевела с турк-менского Татьяна Озерская</i>	7
Светлана Сомова. Фархадская радуга. <i>Стихи</i>	31
Владимир Липко. Другу. <i>Стихи</i>	36
П. Алексеев. Рождение моря	38
Ал. Шмаков. Отец города. <i>Очерк</i>	49
Мирмухсин. Баби. <i>Очерк</i>	53
Машинист экскаватора. <i>Очерк</i>	56
Б. Шувалов, В. Попов. Верблюжья тропа	60
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Алишер Навои (Окончание)	64
Новые книги :	77

РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРЦОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЬТ, Т. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,
М. И. ШЕВЕРДИН (отв. редактор), М. ШЕЙХЗАДЭ.

Адрес редакции „Звезда Востока“: Ташкент, Первомайская, д. № 20.
Телефон 3-38-81

Подписано к печати 25/X 1947 г. Печ. листов 5. Тираж 4000 экз.
Цена 5 р. Зак. 1531. Р 6585. Изд. № 655

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кзыл Узб.“, г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8